

**Произведения, рекомендованные
ИСМО РАО (Институт содержания и методов обучения
Российской Академии образования) и включённые в
учебный курс «Уроки нравственности»
для учеников старших классов РФ**

Александр Викторович Костюнин

Содержание

| | |
|---|----|
| Рукавичка (Рассказ) | 3 |
| Орфей и Прима (Рассказ) | 7 |
| Вальс под гитару (Рассказ) | 14 |
| Совёнок (Рассказ) | 18 |
| Нытик (Рассказ) | 24 |
| Поводырь (Рассказ — учителю посвящается) | 32 |
| Сострадание (эссе) | 34 |
| Дубок (Притча) | 36 |

*

Рукавичка

Православному священнику Вейкко Пурмонену

...Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю.

Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуждён, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам.

И, бросив сребреники в храм, он вышел, пошёл и удавился.

Евангелие от Матфея

Нельзя сказать, чтобы я часто вспоминал школу. Мысли о ней, как далёкое, отстранённое событие какой-то совсем другой жизни, пробивались с трудом.

Я не был отличником — хорошие отметки со мной не водились.

Сейчас понимаю: могло быть и хуже. В пять лет, всего за два года до школы, я вообще не говорил по-русски. Родным для меня был язык карельский. Дома и во дворе общались только на нём.

Десятилетняя школа была тем первым высоким порогом, за которым и жаждал я увидеть жизнь новую, яркую, возвышенную. Заливистый школьный звонок, свой собственный портфель, тетрадки, первые книжки, рассказы о неизведанном, мальчишеские забавы после уроков — всё это, словно настезь распахнутые ворота сеного сарая, манило меня на простор. При чём здесь отметки?

Тридцать лет прошло.

Повседневные заботы, реже радости полупрозрачной дымкой затягивают детство. Годы наслаиваются как-то незаметно, точно древесные кольца. С каждым новым слоем вроде бы ничего не меняется, а разглядеть глубь труднее. И только причудливым капом на гладком стволе памяти, ядовитым грибом или лечебной чагой выступают из прошлого лица, события, символы...

Не знаю, почему уж так сложилось, но ярче всего из школьных лет запомнился мне случай с рукавичкой.

Мы учились в первом классе.

Алла Ивановна Гришина, наша первая учительница, повела нас на экскурсию в кабинет уроков труда. Девчонки проходили там домоводство: учились шить, вязать. Это не считалось пустым занятием. Купить одежду точно в свой размер было нелегко. Перешивали или донашивали оставшееся от старших. Жили все тогда туго. Бедовали. Способность мастерить ценилась.

Как стайка взъерошенных воробьёв, мы, смущаясь и неловко суетясь, расселись по партам. Сидим тихо, пилькаем глазёнками.

Учительница по домоводству сначала рассказала нам о своём предмете, поясняя при необходимости на карельском, а затем пустила по партам оформленные альбомы с лучшими образцами детских работ.

Там были шитые и вязаные носочки, рукавички, шапочки, шарфики, платица, брючки. Всё это кукольного размера, даже новорождённому младенцу было бы мало. Я не раз видел, как мать за швейной машинкой зимними вечерами ладила нам обнову, но это было совсем не то...

Мы, нетерпеливо перегибаясь через чужую голову, разглядывали это чудо с завистью, пока оно на соседней парте, и с удовольствием, сколь можно дольше, на полных правах рассматривали диковинку, когда она попадала нам в руки.

Звонок прогремел резко. Нежданно.

Урок закончился.

Оглядываясь на альбом, мы в полном замешательстве покинули класс.

Прошла перемена, и начался следующий урок. Достаём учебники. Ноги ещё не остановились. Ещё скачут. Голова следом. Усаживаемся поудобнее. Затихающим эхом ниспадают до шёпота фразы. Алла Ивановна степенно встаёт из-за учительского стола, подходит к доске и берёт кусочек мела. Пробует писать. Мел крошится. Белые хрупкие кусочки мелкой пылью струятся из-под руки.

Вдруг дверь в класс резко распахивается. К нам не заходит — вбегает — учительница домоводства. Причёска сбита набок. На лице красные пятна.

— Ребята, пропала рукавичка! — и, не дав никому опомниться, выпалила: — Взял кто-то из вас...

Для наглядности она резко выдернула из-за спины альбом с образцами и, широко раскрыв, подняла его над головой. Страничка была пустая. На том месте, где недавно жил крохотный пушистый комочек, я это хорошо запомнил, сейчас торчал только короткий обрывок чёрной нитки.

Повисла недобрая пауза. Алла Ивановна цепким взглядом прошлась по каждому и стала по очереди опрашивать.

— Кондроева?

— Гусев?

— Ретукина?

— Яковлев?

Очередь дошла до меня... Двинулась дальше.

Ребята, робея, вставали из-за парты и, понурив голову, выдавливали одно и то же: «Я не брал, Алла Ивановна».

— Так, хорошо, — зло процедила наша учительница, — мы всё равно найдём. Идите сюда, по одному. Кондроева! С портфелем, с портфелем...

Светка Кондроева, вернувшись к парте, подняла с пола свой ранец. Цепляясь лямками за выступы, не мигая уставившись на учительницу, она безвольно стала к ней приближаться.

— Живей давай! Как совершать преступление, так вы герои. Умейте отвечать.

Алла Ивановна взяла из рук Светки портфель, резко перевернула его, подняла вверх и сильно трянула. На учительский стол посыпались тетрадки, учебники. Резкими щелчками застрекотали соскользнувшие на пол карандаши. А цепкие пальцы Аллы Ивановны портфель всё трясли и трясли.

Выпала кукла. Уткнувшись носом в груды учебников, она застыла в неловкой позе.

— Ха, вот дура! — засмеялся Лёха Силин. — Ляльку в школу притащила.

Кондроева, опустив голову, молча плакала.

Учительница по домоводству брезгливо перебрала нехитрый скарб. Ничего не нашла.

— Раздевайся! — хлётко скомандовала Алла Ивановна.

Светка безропотно начала стягивать штопаную кофтёнку. Слёзы крупными непослушными каплями скатывались из её опухших глаз. Поминутно всхлипывая, она откидывала с лица косички. Присев на корточки, развязала шнурки башмачков и, поднявшись, по очереди стащила их. Бежевые трикотажные колготки оказались с дыркой. Розовый Светкин пальчик непослушно торчал, выставив себя напоказ всему, казалось, миру. Вот уже снята и юбочка. Спущены колготки. Белая майка с отвисшими лямками.

Светка стояла босая на затоптанном школьном полу перед всем классом и, не в силах успокоить свои руки, теребила в смущении байковые панталончики.

Нательный алюминиевый крестик на холщовой нитке маятником покачивался на её детской шейке.

— Это что ещё такое? — тыкая пальцем в крест, возмутилась классная. — Чтобы не смела в школу носить. Одевайся. Следующий!

Кондроева, шлёпая босыми ножками, собрала рассыпанные карандаши, торопливо сложила в портфель учебники, скомкала одежонку и, прижав к груди куклу, пошла на цыпочках к своей парте.

Ребят раздевали до трусов одного за другим. По очереди обыскивали. Больше никто не плакал. Все затравленно молчали, исполняя отрывистые команды.

Моя очередь приближалась. Впереди двое.

Сейчас трясли Юрку Гурова. Наши дома стояли рядом. Юрка был из большой семьи, кроме него ещё три брата и две младшие сестры. Отец у него крепко пил, и Юрка частенько, по соседски, спасался у нас.

Портфель у него был без ручки, и он нёс его к учительскому столу, зажав под мышкой. Неопрятные тетрадки и всего один учебник — вылетели на учительский стол. Юрка стал раздеваться. Снял свитер, не развязывая шнурков, стащил стоптанные ботинки, затем носки и, неожиданно остановившись, разревелся в голос.

Аллавановна стала насильно вытряхивать его из майки, и тут на пол выпала... маленькая... синяя... рукавичка.

— Как она у тебя оказалась? Как?! — зло допытывалась Алла Ивановна, наклонившись прямо к Юркиному лицу. — Как?! Отвечай!..

— Миня эн тийе! Миня эн тийе! Миня эн тийе... — лепетал запуганный Юрка, от волнения перейдя на карельский язык.

— А, не знаешь?! Ты не знаешь?! Ну, так я знаю! Ты украл её. Вор!

Юркины губы мелко дрожали. Он старался не смотреть на нас.

Класс напряжённо молчал.

Мы вместе учились до восьмого класса. Больше Юрка в школе никогда ничего не крал, но это уже не имело значения. «Вор» — раскалённым тавром было навеки поставлено деревней на нём и на всей его семье. Можно смело сказать, что восемь школьных лет обернулись для него тюремным сроком.

Он стал изгоем.

Никто из старших братьев никогда не приходил в класс и не защищал его. И он никому сдачи дать не мог. Он был всегда один. Юрку не били. Его по-человечески унижали.

Плюнуть в Юркину кружку с компотом, высыпать вещи из портфеля в холодную осеннюю лужу, закинуть шапку в огород — считалось подвигом. Все задорно смеялись. Я не отставал от других. Биологическая потребность возвыситься над слабым брала верх.

Роковые девяностые годы стали для всей России тяжёлым испытанием. Замолкали целые города, останавливались заводы, закрывались фабрики и совхозы.

Люди, как крысы в бочке, зверели, вырывая пайку друг у друга. Безысходность топили в палёном спирте.

Воровство крутой высокой волной накрыло карельские деревни и сёла. Уносили последнее: ночами выкапывали картошку на огородах, тащили продукты из погребов. Квашеную капусту, банки с вареньем и овощами, заготовленную до следующего урожая свёклу и репу — всё выгребали подчистую.

Многие семьи зимовать оставались ни с чем. Милиция бездействовала.

У Чуковского в сказке, если бы не помощь из-за синих гор, все звери в страхе дрожали бы перед Тараканищем ещё и сейчас. Здесь же воров решили наказать судом своим. Не стали ждать «спасителя-воробья». Терпению односельчан пришёл конец.

...Разбитый совхозный «пазик», тяжело буксуя в рыхлом снегу, сначала передвигался по селу от логова одного вора к другому, а потом выехал на просёлочную дорогу. Семеро крепких мужиков, покачиваясь в такт ухабам, агрессивно молчали. Парок от ровного дыхания бойко курился в промозглом воздухе салона. На металлическом, с блестящими залысинами полу уже елозили задом по ледяной корке местные вору. Кто в нашей деревне не знал их по именам? Их было пятеро: Лёха Силин, Каредь, Зыка, Петька Колчин и Юрка Гуров — это они на протяжении последних восьми лет безнаказанно тянули у односельчан последнее. Не догадывалась об этом только милиция.

Руки не связывали — куда денутся? Взяли их легко, не дав опомниться. Да и момент подгадали удачно — в полдень. После ночной «работы» самый сон.

«Пазик», урча, направился за село, по лесной просёлочной дороге. В пути молчали. Каждый сам в себе. Всё было понятно без слов. Ни в прокуроры, ни в адвокаты никто не рвался.

Дорога шла прямо по берегу лесного озера Кодаярви. На пятом километре остановились. Двигатель заглушили. Вытолкнули «гостей» на снег. Дали две пешни и приказали рубить по очереди прорубь.

Снежные тучи тяжело напоздали на нас. Солнце скрылось. Поднялся ветер. Завьюжило. Мороз к вечеру стал пощипывать. Топить воров никто не собирался, а хорошенько проучить их следовало. Есть случаи, в которых деликатность неуместна, хуже грубости.

...В совхозном гараже мы распили две бутылки прямо из горлышка. Стоя. Кусок чёрствого ржаного хлеба был один на всех. Мы пили за победу над злом.

Я этим же вечером уехал в город, а наутро из деревни позвонили: Юра Гуров у себя в сарае повесился. Если бы не этот звонок, я бы, наверное, так и не вспомнил про синюю рукавичку. Чудодейственным образом отчётливо, как наяву, я увидел плачущего Юрку, маленького, беззащитного, с трясущимися губами, переступающего босыми ножонками на холодном полу...

Его жалобное: «Миня эн тийе! Миня эн тийе! Миня эн тийе!» — оглушило меня.

Я остро, до боли, вспомнил библейский сюжет: Иисус не просто от начала знал, кто предаст Его. Только когда Наставник, обмакнув кусок хлеба в вино, подал Иуде, только «после сего куса и вошёл в Иуду сатана». На профессиональном милицейском жаргоне это называется «подстава».

Юрка, Юрка... твоя судьба для меня — укор... И чувство вины растёт.

Что-то провернулось в моей душе. Заньло.

Но заглушать эту боль я почему-то не хочу...

...На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

Евангелие от Луки

*

Карелия, с. Вешкелица, 2006 год

Орфей и Прима

Моей дочери Кате

*...Охота зело добрая потеха,
её же не одолеют печали и кручины всякие.*

Урядник сокольничья пути

Объявление гарантировало «получение удовольствия от коммерческой охоты на зайца-беляка с русскими гончими». Поехал наудачу, заранее не условившись ни с кем. Лишь подгадал время года, самый конец октября, да свободные дни. Остальное решают деньги.

Путь предстоял неблизкий — в Заонежье.

С обеда морозец спал. Повернуло к теплу. И всё вокруг накрыло мелким зябким дождём, на грани снега. Короток осенний день. Уже в сумерках добрался я до охотничьей базы.

Егерь, крепкий мужик лет пятидесяти, встретил сухо.

Мы познакомились. Николай Фомич, выслушав мои пожелания, нахмурился.

— Саша, не получится завтра съездить. Собаки устали. Двое суток подряд на гону. Заменить некем. Выжловка, — он указал на брюхатую русскую гончую, — сам видишь...

Приму, досужую, лучшую суку Николая, весной, в период пустовки, «не задержали». И теперь, в разгар охоты на зайцев, — ей щениться. В итоге выжлецы-однопомётники, Орфей и Гром, остались без подмены.

Но сука, похоже, не считала себя виноватой. Что ей до прибыли, до репутации хозяина и сорванных контрактов... Она с достоинством, трепетно несла свой заветный груз, переходя от одной прихваченной первым морозцем лужи к другой. Сосредоточенно, подолгу, приняховалась к бурым клочкам пожухлой травы. Изредка ложилась на землю, прикрыв глаза. Вся в себе. Набухшие розовые соски её томились.

— Нет, не получится выехать, — твёрдо отрезал егерь. — Тропа эти дни была жёсткой. У выжлецов все лапы сбиты в кровь. Их утром не поднять.

Дождь неприятной, как слова егеря, студёной струйкой скатился мне за воротник.

«Торгуется», — сообразил я и предложил тройную цену.

Фомич отвёл глаза.

— Ну, всё одно, пойдём в дом. Ужинать пора. Да и ночевать тебе придётся здесь.

Я молча двинулся за ним.

Аромат жаркого из зайчатины встретил нас ещё в коридоре. В кухне было светло. Топилась печь. Из кастрюли призывно побулькивало.

На полу, не выбирая удобной позы, застыли в забытьи два гончих выжлеца. Тот, что посуше, багряный, с ярким чепрачным окрасом, едва повёл головой при нашем появлении и тут же сник.

— Отдыхай, Орфейка, отдыхай... — со вздохом промолвил Николай.

Другой гончак, с белыми отметинами на груди, тихонько взлаивал во сне, продолжая гон. Передними лапами он время от времени беспокойно перебирал в воздухе, силясь добрать зверя.

Влажную верхнюю тужурку я повесил, как было предложено, ближе к плите — пусть сохнет. Снял шерстяной, с глухим воротом, свитер, освободил ноги от резиновых сапог и, оставшись босиком, в нательной рубашке, почувствовал, как истома стала овладевать мной.

Достал из рюкзака бутылку перцовки.

Сели к столу.

Выпили по одной — за знакомство. Потом ещё. Спиртное приятно покатило по нутру, смывая и унося своим горячим потоком дневные заботы.

— Фомич, расскажи про своих собак.

— Нет, подожди — сначала нужно закурить.

Он не спеша набил трубку самосадом. Раскурил. Расправил пышные усы. Мечтательно затанулся.

— Саш, понимаешь... Увидел я однажды охоту эту, с русскими гончими по зайцу: красивую, яркую, старинную. Увидел и влюбился в неё навек. Гончая охота — как натянутая струна. Сильнее напряжения я не испытывал ни на какой другой.

— Как же ты выжловку не уберёг?

— А вот так... Наша Прима-балерина весной пошла по наклонной. Нарочно залетела! — Николай нервно заёрзал, вспоминая коварство суки. — Хотя перед охотой и отсадил я её, сигаретину дешёвую. Отсади-и-ил ведь! Устроил второй вольер. Выжлецов выпустил на волю, размяться. Знал, что мужики будут крутиться возле, раз «гуляет». Ну и пусть, думаю, намыливаются — Примка-то под замком. Я выпустил, а этот барбос сгрыз калитку снаружи...

— Кто? — не сразу понял я.

— Орфей, с ним спуталась, — Николай мотнул головой в сторону пса.

Кобель приоткрыл глаза и укоризненно посмотрел на хозяина. По-моему, он и до этого момента не спал, лишь притворялся и всё слышал.

— Выходит, его потомство?

Николай обречённо кивнул и продолжал:

— Наутро смотрю — добирался до неё... Вертлюжок сгрыз. Когда сгрыз — появился небольшой люфт. Он давай её отсюда, снаружи тащить. Щель снизу образовалась, и дверь оттянулась. Добавочные крючки у меня были, кроме вертлюга. Когда прибывал, думал: повыше или пониже? Ай, думаю, прибью повыше — не взломают. Сначала сам попробовал тянуть — куда там. Туго. Два крючка и — разо-гну-ты. Крючья ра-зо-гну-ты! Он растерянно глядел на свой скрюченный указательный палец. — Как пассатижами... Он таки открыл её. Я потом анализировал-сопоставлял: как такое могло случиться? Сама ему, стерва, помогла. Ломилась навстречу, изнутри. Дверь всю исцарапала, шерсть прямо клочками на калитке оставила и всё-таки выскочила — так хотелось к нему на свиданку.

Орфей перестал делать вид, что спит. Он поднялся, подошёл к своей миске, прилёт рядом и с мрачным видом стал грызть заячьи косточки.

Фомич проводил его пытливым взглядом:

— Ему ещё восемь месяцев было. Сделал для них с Громом вольер из сетки. Закрываю. Через некоторое время — Орфей на улице. Что такое?! Я к забору. Снежок выпал. Смотрю по следам: где перелазит? Оказывается, он — на будку, с будки прыгает через забор — и на волю. Ладно. Я над конурой делаю навес. Два листа шифера стелю. Ну, на будку пускай заберётся, но прыгнуть с неё не сможет — голова в крышу упрётся. Им же... Он же не может сначала изогнуться — вот так, из-под выступа, потом подтянуться за край и ногу закинуть. У него ума-то на это не хватит... Через некоторое время Орфей опять на свободе. Да ещё и не один — с Громом. По следам ничего не могу понять. Закрыл обоих. Отошёл подальше, они меня не видят. Сел и наблюдаю: вот он ходил-ходил, ходил-ходил, прыгнул на будку. Встаёт на задние лапы, упирается головой в шифер, напря-га-а-ется, вырывает его с гвоздя... Выпускает в щель Грома. Потом сам — вот так — в эту щель голову пихает, шельмец, ему шифером да-а-а-ви-ит сверху, он всё рrr-а-вно тискается, прола-а-а-а-зит и выпрыгивает.

Эту историю Орфей слушал, очевидно, не первый раз. Устало поднявшись, он подошёл к холодильнику и сел напротив. Внимательно разглядывая дверку, кобель с интересом наклонял голову то на один бок, то на другой. Видно было по всему — не просто так смотрит. Он думает!

Николай, обращаясь к псу, с опаской поинтересовался:

— Что, изобретатель, прикидываешь, как открыть?

Гончак изобразил полное равнодушие, вернулся на место и лёг.

— Ну, пошли спать. Съездим завтра в лес, коли так. Давай деньги.

Николай обстоятельно пересчитал купюры, показал мне спальное место и повёл собак в вольер.

Я вышел на крыльцо. Егерь удалялся по лесной дорожке, держа перед собой «летучую мышь». Мерцающие блики огня прыгали тусклым светом по чёрным еловым лапам. Гончие неспешно следовали за ним.

Замыкала цепочку Прима. Временами она останавливалась, поводила головой, втягивая воздух.

Дождь кончился. Было тепло, влажно и безветренно.

Погода выстраивалась под заказ.

Ночью не спалось.

Прислушивался: нет ли ветра, не накрапывает ли дождь?

На новом месте мне вообще спится плохо, а тут такое дело — завтра охота. Я не стал ждать, пока Николай постучит в дверь. Увидел, как зажётся свет у него на кухне, и стал одеваться.

Чай пили, не рассиживаясь, споро. Собаки, слышав из вольера хлопанье дверью, наши голоса, ор непрогретого уазика-«буханки», подняли гвалт.

Подъехали на машине к самому вольеру.

Прима ворчала. Поводя белёсой мордой, она что-то в сердцах выговаривала егерю. Вставала у него на пути. Не давала Николаю вынести Орфея на руках к машине. Путалась под ногами и скулила.

Кобель попытался вырваться с рук ей навстречу. Хозяин окрикнул:

— Прима, место!

И ещё крепче прижал к себе внезапно разволновавшегося выжлеца.

Гром вышел из вольера вслед за Орфеем, но запрыгивать в машину не стал. Пришлось грузить и его.

Постепенно светало.

Дорога шла берегом Онежского озера, затем свернула в глубь леса и потянулась пригорками и вырубам к Федотовскому кордону. Фомич машину вёл аккуратно: привычно объезжал глубокие лужи, заученно сбавлял скорость перед ухабами и поворотами, на прямой разгонялся вновь. Свой рассказ он начал без вступления, словно и не прерывал его:

— У деда было кожаное кресло, он усаживался и начинал с отцом обсуждать охоту. Мой двоюродный брат при этом вставал и уходил. Считал — пустые разговоры. Я же, малой совсем, всегда крутился в такие минуты рядом. Дед никогда не говорил: «Ружьё стрельнуло». Ружьё только бьёт или садит. Моё ружьё бьёт садче, чем твоё! Или вот: собака ладистая — значит, правильно сложена. Залиться — это когда гончак, подняв зверя, — «помкнув» его, — гонит, щедро и беспрерывно отдавая голос. Скажи — красиво?!

Дорога пошла ольшаником.

Машина подминала на своём ходу заросли дикого малинника, раздвигала мелкие деревца, ветки хлестали по лобовому стеклу уазика.

— По тому, как гончие подают голос, их и различают: одни подают редко; другие часто — «ярко»; третьи залиvisto — как бы без перерыва; кто — заунывно, на высокой или низкой ноте. Я на охоту обычно с Володей Григорьевым выезжаю. У него сейчас выжлец подрастает... Ох, и голосина! Я был у него на базе. Смотрю, бегают три щеночка, им по четыре месяца тогда тянуло. Двое: «Пи-пи-пи». Тьфу! А один: «Увв! Увв! Увв!» Уже тогда. Моим — далеко до него...

Салон машины густо наполнил неприятный запах. Николай осёкся и гневно бросил через плечо Орфею:

— Хватит бздеть! Видишь ли — не согласен он...

Пёс после упрёка так сконфузился, что, клянусь, большего смущения я не видел при подобных обстоятельствах ни у одного человека.

Мы выехали на край делянки. Остановили машину.

Собак Фомич сразу напускать не стал. Пояснил:

— Их нужно сперва выдержать. Пусть потомятся. Они должны с радостью, с азартом, без понуждения ступать на тропу. Страсть в них должна разыграться...

Правда: собаки перетапывались в машине не в силах более сдерживать своего волнения. Принимались лаять. В нетерпении скребли лапами.

Дверь настезь — и смычок русских гончих, теснясь и разбрасывая слюну, выскочил на волю. Псы возбуждённо пробежали взад-вперёд, сделали круг.

Край солнца выглянул над опушкой леса. И сразу лучи, разметаив брызги алмазов по бурым стеблям пожухлой травы, по молодой поросли лиственных деревьев и серым мшистым камням, оживили природу.

Пока мы доставали из машины ружья и поклажу, гончаки активно работали в «полазе».

Смотрю, они ищут, ищут, ищут... Морда к морде. И вдруг натекают на пахучий волнующий след. Проверяют. И вот нос ещё сзади, не может оторваться от следа, а корпус, ноги в погоне. Уже пошли вперёд. Не отдавая голос. Рывком! На гон.

Скрылись из виду. Секунда. Две. Три.

Гром подал голос. Вначале неуверенно. Слышны отдельные: «Ав», «Ав». И вдруг высоко, заливисто, победно прорвало:

— А-ааа-ааау!!! А-ааа-ааау!!! А-ааа-ааа!..

— Уав-уаввв-а-уаввааа!.. — подхватил Орфей.

Гон зазвенел на все голоса: жаркий, страстный. Не лай, а стон покотился по низине, заиграл эхом и пошёл кромкой влажного леса. Гончаки резвые, паратые, равные на ноги — косому петлять некогда.

Быстро идёт гон.

Заяц замелькал на краю делянки, пересёк её и выкатился на дорожку.

Прямо на нас — «на штык».

На самом верном лазу Фомич. Метров за семьдесят от него заяц сел. Выстрел! Беляк пошёл. Ещё один выстрел вдогонку проходного. (Вторым выстрелом, чувствуется, зацепил.) Собаки идут не скальваясь. Николай стреляет третий раз. Заяц останавливается, но не падает. Я, забыв про ружьё, фотографирую. Гончие близко. Вывалили на дорожку. Увидели зайца и, наткнувшись зрачком, «понесли навзряч»!

Впереди, вожак, Орфей. Кобель «висит на хвосте» зверька. Добирает его. Едва отняли.

Заяц выцвел не полностью. Почти весь белый, только пятном на лбу и полосой по спине держится красноватая шерсть да на кончиках ушей яркая, не выцветающая и зимой, чёрная оторочка.

Счастливый, довольный гончак забрёл в центр лужи и лёг в бурюю жижу, озорно пуская пузыри. Мы втроем: Николай, Гром и я — переглянулись.

Во второй половине дня, после обеда, собаки стомились и долго не могли поднять зверя. Мы прошли хутор. Поднялись на скалу. Сверху озёра и деревни видны далеко-далеко. Был тот скоротечный период года, который у гончатников принято называть «узёрка». Золотая осень и яркие краски закончились. Первый снег уже был, но бесследно сошёл. Талая земля ещё не промёрзла. Берёзы сменили сусальное золото листвы на строгий готический стиль. Графика вытеснила живопись. Заяц полностью побелел — «вытерся».

Под ногами заросшее травой и мелким кустарником сухое болото, окружённое высоким бугристым лесом. При выходе на чистинку я заметил боковым зрением под скалой, в коряжине, белое пятно. Остановился, повернул голову назад: заяц или нет? Может, клочок снега? Обрывок газеты?

На ходу достаю очки, нацепил: ну точно, заяц! Но уже не лежит — сидит в беспокойстве. Заведомо сомневаясь, что пробую, стреляю через кусты. Нелепо белый, словно в накрахмаленном медицинском халате, он срывается с места, летит на скалу. Там Фомич. Беляк ему под ноги. Выстрел! Другой! Тишина.

Собаки подваливают на выстрел. Погнали.

— Ё-моё, он у меня перед самым носом сидел.

Коля с упрёком:

— Что же ты раньше не стрелял?

— Я думал — газетины кусок.

Гоньба пошла по большому кругу, и собаки сошли со слуха. Стало смеркаться. С обеда серые тучи, словно устав, замедлили ход и, лениво теснясь, наползали друг на друга. Сначала несмело, потом настойчивей стал накрапывать дождик.

Пора назад.

Фомич достал из-за спины охотничий рог. Трижды протрубил.

Вернулся Гром. Николай взял его на поводок и привязал рядом с машиной.

Орфея не было.

Мы пошли в сторону ушедшего с гоним гончака, непрерывно окликая его. Наткнулся на выжлеца Фомич. Орфей лежал на краю поляны, на спине, задрал вверх дрожащие окровавленные лапы. Не скулил. Даже на это сил не было.

— Орфей, что с тобой?!

Кобель попробовал подняться. Не смог.

— На сегодня, Орфеюшка, всё. Пойдём домой. Вставай.

Выжлец ещё сделал попытку встать на ноги и снова повалился. Он устал до крайности. Николай силой поднял его. Пёс, едва перебирая ногами, пошёл.

Идёт, идёт и оглянётся. Убедится, что видим, подходит к кусту и валится на бок. Снова поднимаем, ставим на ноги, дальше идём.

До машины оставалось метров пятьдесят. Орфей направился к кусту, хотел рухнуть, как вдруг оттуда ему пахнуло в нос свежим, дурманящим, животворящим запахом красного зверя.

— А-ау! А-ау! А-ау!

И погнался. С азартом, страстно. Куда делась смертельная усталость?

У машины воем завёлся Гром.

Гон на круг заворачивать не стал, ушёл по прямой: так уводит только лиса.

А на улице терпкая октябрьская темень.

Мы ждали. И кричали. И дважды бегали до дальней делянки. Звали, трубили, стреляли в воздух — напрасно. Кобель не вернулся. Николай бросил под куст свою фуфайку — родной запах.

— Поехали домой. Его так просто с гона не снять — вязкий, непозывистый гончак. Ничего, нагоняется — придёт! Не первый раз.

База встретила нас притихшей.

В наше отсутствие Прима оценилась и теперь, забившись в конуру, устало облизывала свои мокрые родные комочки. К нашему появлению она отнеслась равнодушно, при этом словно ждала кого-то. Беспокойно вытягивала морду кверху. Принюхивалась.

Фомич присел рядом на корточки и, ласково заглядывая ей в глаза, потрепал за загривком:

— Придёт твой Орфей, не горюй. Куда ему деться? А этих щенков ну никак нельзя оставлять — сама понимаешь. Осенний помёт у породистых гончаков сохранять не принято: таких собак ни на выставку, ни на полевые состязания не предъявишь — засмеют. И самое главное — их не продать потом. Мне от вас с Орфеем щенки весной нужны. Саша, посвети.

Он передал мне керосиновый фонарь.

Сам поманил Приму куском сахара. Та недоверчиво высунула голову из будки. В ногах у самки беспомощно копошились детёныши. Один, что покрепче, сосал маткину грудь, для удобства забравшись поверх братьев и сестёр. Другие же или беспомощно попискивали, слепо хватая ртом воздух, в поисках желанного соска, или безмятежно посапывали, прижавшись к тёплому, как лежанка, животу матери.

— Прима, на-на!

Теперь её высасывали семь ртов, и природа понуждала восстанавливать силы.

Собака подалась из конуры. Сосок коварно выскользнул у крепыша изо рта.

Щенок заскулил.

Николай, ухватив за ошейник, перевёл собаку из вольера в соседний, наглухо сколоченный дощатый сарайчик, поставил перед мордой миску геркулесовой каши и плотно закрыл снаружи дверь.

Сука, почуяв недоброе, завывала.

Фомич, глухо матерясь, опустился на колени рядом с будкой и на ощупь стал вытаскивать тёплые комочки, один за другим, укладывая их в голубое эмалированное ведро, в котором обычно таскал еду для собак.

Звериный вой суки будоражил ночную тьму.

Прима бесновалась, кидалась на глухую к её горю дверь сарая, ударялась в неё всем своим телом, падала, поднималась, снова и снова билась, но ничего не могла исправить.

Щенки, безмятежно жмурясь, возёхались на дне ведра, сытые, притихшие, не ожидая от жизни ничего, кроме хорошего.

— Свети лучше, не тряси фонарь, «газетины кусок»...

Егерь наклонил стоявшую под стоком бочку с дождевой водой и залил ведро до краёв. Шевелящаяся живая масса с бульканьем скрылась. Лишь один из щенков, крепыш, видно в бату, не сдаваясь, поднялся по телам своих братьев и вытянул головку наружу. Николай берёзовым прутиком легонько притопил его.

Свет «летучей мыши» сперва выхватывал под водой последние судороги щенка, потом жизнь затихла.

— Всё, — устало произнёс егерь. — Пошли ужинать.

Мальшей отнесли в выгребную яму, подальше от вольера, и зарыли.

Ни ночью, ни под утро Орфей не вернулся.

Мы объехали на машине все ближние деревни: собаки нигде не было. И только знакомый старик видел возле Федотовского кордона волков. Как раз там, где мы вчера полевали.

Я опаздывал на работу и больше оставаться не мог.

Укладывая вещи в машину, прощаясь с егерем, я никак не мог избавиться от еле слышного, но от этого не менее щемящего, раздражающего душу, пронзительного воя суки. И отъехал далеко, и музыку включил лёгкую, а он всё не отпускал — преследовал меня.

С тех пор я не охотился с гончими. Но странное дело: всякий раз, когда мне случается читать или слышать про созвездие Гончих Псов, я невольно вспоминаю Орфея и Приму — русских гончих, страстью которых торговали под заказ.

Не ведал я тогда, что Звёзды не продаются!

Звёзды светят всем одинаково.

Карелия, г. Медвежьегорск, 2006 г.

Вальс под гитару

Тамаре Рейновне Ахтияйнен

...В сущности, любая человеческая душа представляет собою зыбкий огонёк, бредущий к неведомой божественной обители, которую она предчувствует, ищет и не видит.

Андре Моруа

На открытой автобусной остановке нас было двое.

Редкие апрельские сумерки перебивал холодный свет уличного фонаря. Он выхватывал из серой дымки мальчишку лет четырнадцати на вид в чёрном слегка мешковатом пуховике на вырост да в шерстяной вязаной шапочке по самые глаза. В руках у него была гитара.

Маршрутный автобус подкатил к стоянке. Мальчишка купил билет, небрежно засунул его в боковой карман и поднялся в салон. Я следом. Свободных мест было много, но отчего-то я сел ближе к нему.

— Чего это гитара без струн? — не утерпел я.

Он ответил не сразу. Сначала уложил своё затихшее «музыкальное орудие» на колени, стащил с головы шапочку, освободив белокурые неприбранные вихры, и только потом обстоятельно поведал:

— Ездил в город, думал можно починить. В этом году я музыкальную школу по классу баяна заканчиваю, но хочу ещё и на гитаре научиться. Чужую брал на неделю, вроде получалось. Это отцова гитара. Он погиб, когда я ещё совсем маленький был. На новую мать денег не даёт. Ворчит: «Расти и зарабатывай сам. Я не успеваю за всем одна».

Он задумчиво провёл пальцами по грифу, разделённому порожками на лады, и повернул голову в сторону запотевшего окна.

— Выходит, ты настоящий музыкант, раз уже специальную школу заканчиваешь?

— Настоящий-ненастоящий, а в концертах участвую.

— Когда талант есть — дивьё! У тебя, по всему чувствуется — есть.

Похвала не показалась ему наигранной. Он заметно оттаял. Грустно и притом благодарно улыбнулся. Сел ко мне вполоборота. Взгляд его лучился добротой.

— А ведь свою «музыкалку» я один раз чуть не бросил...

— Что так?

— Думаю, у всех бывают чёрные полосы. У меня тогда, в конце школьного года, было всё неважно. Выходило много двоек за четверть. Я плохо... очень плохо учился. Не понимал. Принимался зубрить. Не прилипало. То же самое по баяну: ну, орёт на меня училка — хоть ты что... Дома мать исходит на крик — и за двойки, и за баян.

Я даже ножик брал, приставлял к руке, но потом думаю...

Встал однажды рано. Первый урок — русский. Домашку не сделал. Блин! Мне двойка выходит. Опять на меня наорут все. Ой... По остальным предметам тоже. Ну, может, там по рисованию «хорошо», наверное. Ещё и на баян идти. Господи! Вернусь усталый — уроки делать. Когда же этот день кончится? А он ещё и не начался...

Сажу раздетый, в темноте, кровать разложена, постель тёплая; потрогаю деревянную спинку кровати, этот лак на фанере, эту родную щербинку. И когда ненавистный день пройдёт, коснусь снова. Впереди уже будет только желанная ночь. (Он говорил это, забыв обо мне. Я мысленно вторил ему.)

Пусть между прикосновениями быстро пролетит день.

Чтобы не видеть ничего.

Чтобы не слышать никого.

Чтобы скорее окутал сон — мой рай.

Чтобы, как свободный будто бы.

За этим прикосновением темнота... Хорошо. Это — точно награда. Но день не даёт дотянуться, отделяет начало от конца. Зачем промежуток между ними?

Чем такой «свет» — лучше всегда «тьма».

Каждое моё утро теперь начиналось одинаково...

Никому раньше я об этом не рассказывал. Не знаю, почему с вами разговорился?

В музыкальной школе я тогда учился третий год. Елена Степановна, учительница по баяну, постоянно придиралась, как ни приду. Мне казалось, что она так орёт и цепляется только ко мне.

Стол у неё деревянный, чем-то гремучим набит. Когда я играю, она задаёт постукиванием руки по столу верный ритм, но при этом от злости ударяет по нему так, что в столе всё подпрыгивает и громыкает. Я играю в другом темпе, она стучит изо всех сил, вроде бы подсказывает, хочет помочь, только я всё равно сбиваюсь.

Домой каждый раз тащусь в слезах. Приду. Дома никого. Мать ещё на работе. Сяду один в темноте и плачу.

Один раз пришёл из школы... Мы как раз новое произведение разучивали. У меня ни в какую не получалось. Притопал и реву себе. Не могу успокоиться. Сам думаю: «И зачем это надо? Эти “сольфеджио”, “интервалы”, “гаммы”, “мажоры”, “миноры” — всё. Зачем? Мне ещё два года учиться, и ещё целых два года она на меня будет так орать».

Я вырвал чистый листочек из тетрадки по алгебре и сам, никто меня не учил, начал писать, что хочу уйти и прошу вычеркнуть меня из третьего класса музыкальной школы. Ни от лица мамы, ни от кого-то ещё, от себя. Поставил месяц, число, год, расписался. И сразу, как только решение принял, успокоился. Подумал: «Ну, всё!»

Решил, что пока заявление отдавать не буду. Схожу ещё один разок на баян, и если только она на меня заорёт, вот тогда я листок и достану.

Письмо будет вроде отмычки от неё.

Буду свободен. Буду спокойно ходить себе по улице, как все. Пацаны вон смеются: «Да на фиг тебе этот баян? Такую гробину таскать! Играть на нём? Давай лучше в карты сыграем». Для них баян, что гармошка, на которой только старые дедушки до войны играли.

Урок у меня на следующий день. На улице снегу по колено. Мало что растаяло. Я иду вечером по тропке. По бокам тянутся вверх берёзы и тополя. Никогда раньше не считал, сколько их. Не до того было. Вечно перед музыкальными уроками дрожал, нос в землю. А тут загадал: вот подниму сейчас голову, сколько берёз увижу перед собой, такую и отметку на уроке получу.

Я поднял голову и мне бросилась в глаза не одна, не две, а сразу четыре берёзы. «Ага, — думаю, — хорошо!» Не то, чтобы я был уверен в такой оценке, просто стал сильно желать её.

Прихожу на урок. Здравуюсь. Беру инструмент. Поддвигаю ногой стул. Сажусь.

Она всё не орёт и не орёт...

Достаю нотную тетрадь. Открываю нужную страницу. Этюд без названия. Одни сплошные шестнадцатые ноты.

Пробую исполнять. Не дрожу. Спокойно на клавиши нажимаю. Плавно, не рывками, растягиваю меха. И музыка полилась совсем другая. Я сперва-то просто, ради того, чтобы размяться, попробовал. Идёт. Потом, уже не останавливаясь, прямо от начала до конца повёл.

Мне представился бег муравья: «Ты-ды-ды-ды-ды! Ты-ды-ды-ды-ды. Ты-дыд-тын-ты». Он сюда забежал: «Ты-дыды-дын! Тырылим-тым-тым!» Опять бежит, бежит, бежит. Взял соломинку, повернулся и назад в муравейник. Мои пальцы — будто его лапки. Они с такой же скоростью бегают, как у него. Если он быстрее бежит, и ты быстрее пальцами перебираешь: «Ты-ды-ды-ды-ды». Это не тарантул какой-то, который еле ползёт: «Тууу-туууу».

Елена Степановна глядит на меня молча, только головой одобрительно кивает. Прямо волшебство какое-то... «Молодец!» — похвалила.

Красивую четвёрку в дневник и в музыкальный журнал поставила! Видно, училка сама-то по себе ничего...

Вышел из клуба. Не могу поверить. Стою на крыльце. Дышится легко. Гляжу по сторонам. Такой обалдевший. Думаю: что если бы я увидел не четыре берёзы, а две? Мне бы опять двойку вкатили?

У меня теперь с баяном всё хорошо. Хочу теперь на гитаре научиться, как папка. Мама его за гитару и полюбила. Он лучше всех играл. Душа компании.

Иногда подумую: «Каким бы я дураком был, если бы письмо сдал тогда». Берёзки мне помогли. Я их уже не раз мысленно целовал.

Я хочу выбрать музыку себе и дальше по жизни.

Ну, например, поступит сейчас кто-нибудь учиться на агронома, инженера или военного. Кому они нужны?! А музыка — она везде. Машина гудит — музыка. Мы с вами говорим — музыка. Да вот, — он два раза озорно притопнул ногой, — и это музыка.

— Уж прямо и музыка?!

— Да — музыка.

Перед первым моим выступлением на концерте Елена Степановна наставляла: «Будет в зале кто-то из близких, мама или кто-нибудь ещё, ты не смотри на них, не маши им, не улыбайся. Иначе собьёшься. Ты смотри вверх в одну точку. Играй для этой точки. Скажи: “Смотри, точка, как я играю”. Разговаривай с ней. Пускай даже будут светить всякими фонариками в глаза, пулять в тебя. Если спутаешься, всё равно доигрывай».

Выхожу на сцену. Боюсь. Сел на стул и с ходу заиграл. Колени дрожат... Сжал их сильно-сильно, как мог, всё равно трясутся. Нажимаю на клавиши — слышно: «Ды-ды-ды». Всем слышно. Дрожь с музыкой. Взгляд бежит по залу. Народу-то... Пацаны наши. Они же обсмеять меня могут. А я один, такой маленький. Играю, играю. Хоп! Ошибся. Сам уже хочу заплакать и убежать за кулисы.

И тут я вспомнил про слова учительницы, поднял голову и посмотрел вверх всех. Но только я уставился не в точку. Я вдруг увидел вдали папу. Он смотрел прямо на меня. Я стал играть для него... Лица всех людей сделались расплывчатыми, незаметными. Всё вокруг исчезло. Только я и он.

Чувствую, перестал дрожать. Играю по-настоящему. Не просто бездумно нажимаю на клавиши и тяну меха. Уже думаю о том, как у меня пальцы расположены. Громче, тише играю. Когда форте, когда пиано — слежу.

Исполнял я вальс «На сопках Маньчжурии». Вы слышали его?

— Хороший вальс.

— Сначала идёт тихая музыка. Играю для папы, а сам представляю: он словно уже не лейтенант, как на строгой фотографии в документах. Он генерал. Седой весь. Он сидит и слышит, что я начал играть. Музыка пошла. Я играю её тихо, потому что в главной роли музыки — он. Встаёт, ищет себе пару. Нашёл! Выбирает мою маму. Значит, нужно с этого места громче играть. Это — радость евоная. Одна часть: «Тын-тын-тын. Туу-гуд-туду-та-дататам-гада». Они танцуют счастливые, улыбаются. Музыка громче: «Туу-тут-туду!» Вот они посмотрели друг другу в глаза — пауза такая. На миг всё остановилось, затем опять начинают кружиться, и ты крещендо, с усилением звука, начинаешь играть.

Я полгода разучивал пьесу, и теперь то, над чем трудился, сжалось до двух минут выступления. Не каждый так сможет. А я научился.

Мне кажется, папе понравилось.

Это приятно и даже немного волнительно.

Я доиграл, низко опустил голову и заплакал от счастья. Убежал со сцены. Не мог никого видеть в этот момент. Зал долго хлопал вслед. Потом говорили, что получилось здорово.

Однажды я взял гитару у приятеля. Мама заглянула, смотрит — подбираю аккорды. Говорит: «Знакомое что-то. Вроде, папа играл».

Она ушла. Я отложил чужую гитару и взял папину. Поглаживаю её, трогаю. Когда-то до неё дотрагивался мой папа. И ещё мысль: у него, когда не брился, щетина росла, он тёрся об мою щеку, щека делалась красной. Мне становилось весело, приятно, счастливо даже. Это помню. И вот теперь я касаюсь гитары, которая помнит его прикосновения. Мне так захотелось исполнить вальс «На сопках Маньчжурии» для папы, но уже под гитару. Чтобы он порадовался и за меня, и за маму. Если бы он был с нами, то сам бы для мамы играл.

В городе просил отремонтировать её — не взяли. «Нет, — ответили, — слишком старая. Гриф треснул, так что новые струны не помогут. Чудес не бывает!»

Мальчишка замолчал, и я молчал. До самой остановки.

Самое главное было сказано.

Перед тем, как выходить, он крепко, по-мужски, пожал мне руку и сказал на прощанье:
— Завтра у нас в клубе праздничный концерт. Я тоже выступаю. Приезжайте.

Парнишка вышел на ледяную обочину и, прижав к груди заветную гитару, зашагал в темноту. Даже имени его я не узнал.

Дверь захлопнулась. Автобус двинулся дальше.

Концерт в клубе закончился. Выступление на баяне отметили все. Он играл сегодня как-то особенно хорошо. Зрители потихоньку расходились, и только музыка незримыми волнами ещё широко плыла по свободному залу.

Пошёл одеваться и мальчишка. И тут вахтёр, пожилая знакомая женщина, вынесла из боковой комнаточки упакованную в полиэтилен новую акустическую гитару:

— Это тебе просили передать. Кто — не знаю.

Ошиблись мастера. Чудеса случаются!
Был день Светлого Христова Воскресения.

*

г.Петрозаводск, 8 апреля, 2007 года

Совёнок

Владимиру Георгиевичу Бояринову

Когда мальчишки растут, то обычно предпочитают играть с мальчишками: в машинки, войнушку, в футбол... Девочек в свою компанию не больно-то любят принимать. Мой Серёжка такой же. Исключение сын делал только для одной девчонки.

Он называл её Совёнок.

Похожа...

Широко распахнутые выразительные глаза. Длиннющие реснички. Казалось, слышно было, как они хлопают. Махонькая, годика три. Серьёзная-серьёзная. Мать заплетала ей косички раз в неделю, очень туго, чтоб не растрепались. Девчушка замрёт, а голова крутится: вправо-влево, вправо-влево. Точь-в-точь совёнок. Косички следом — туда-сюда.

Поселились они с матерью в нашем доме прямо за стенкой, в однокомнатной квартире. Раиса работала продавщицей в угловом. Рыжие волосы до плеч, яркая помада. Многообещающий взгляд маслянистых глаз. Призывно-короткое платье в обтяжку, подчёркивающее стройную соблазнительную фигуру. Всегда открытая к общению. К ней частенько заживали мужики, оставались на ночь. Такая «прости господи» была... Во дворе Раису прозвали Кошкой.

Моё общение с соседями ограничивалось дежурным: «Здрасьте!» Я старался не обращать на них внимания, покуда не увидел сынишку на улице вместе с пацанкой.

Они строили в песочнице диковинный город. Девчушка, присев на корточки, лепила маленькими ладошками башенку дворца. Сын был старше года на три, а играл с ней увлечённо, не замечая разницы в возрасте.

Я важно подошёл, наклонился к Совёнку, протянул руку:

— Ну, давай знакомиться. Как тебя зовут?

Девчушка опустила голову, спряталась за панамку и стала демонстративно ковырять совочком землю.

— Так как же тебя зовут?

— Меня-то — ладно, а тебя?

Я представился.

— Мне мама с чужими дядьками не велела лазговаливать.

Озадаченно убрал руку:

— Разве я чужой? Мы теперь соседи.

Она внезапно вскочила, уставилась вдаль:

— Тлл-лактол! — и брыкливо поскакала прочь.

Я мучительно искал взглядом тяжёлую технику, но улица была пуста.

— Да пукнула она, — истолковал Серёжа загадочные действия своей подружки.

Так мы с Наташкой и познакомились.

Дом наш стоял в центре провинциального городка.

Двухэтажный, кирпичный, благоустроенный — роскошь по тем временам. Во дворе — уголок чарующего леса-сада. В центре плечистые сосны поддерживают своими кронами небо. Рядами — кусты чёрной смородины и сирени. По соседству, за высокой сетчатой оградой, большущий школьный приусадебный участок. Весной-летом птицы щебечут, поют залиvisto на разные голоса. Выйдешь на улицу — благодать! Гремящих трамваев да гулких троллейбусов нашему городишке не полагалось по статусу. Маленький ещё! Идёшь по центральной улице, сделаешь шаг в сторону, юркнешь под широкий навес тополиных листьев, проберёшься сквозь густые заросли черёмухи — и сразу окажешься на тихой заповедной полянке перед жёлтеньким домом, словно в далёком оазисе.

Снаружи наш жизнерадостный домик-одуванчик казался сказочно-солнечным. Но в жизни как: если с одной стороны светит солнце, с другой — обязательно мрак.

Жильцы хорошо знали, что скрывалось за нарядным фасадом.

Уютная обитель была возведена на месте бывшей помойки. При спешном строительстве нижние кирпичи укладывались прямо на грунт и дом на глазах вращался в землю. Стены, потолок при движении вниз запаздывали, пол опускался быстрее. Между полом и стенами появлялись щели. Сперва небольшие. Их старательно заделывали цементным раствором, но они расширялись всё больше и больше, и уже никакие замазки не могли залатать непокорные бреши.

Данное обстоятельство устраивало большинство исконных обитателей дома — огромных серых крыс. Они не были прописаны здесь, хотя проживали на полных правах. Это нас подселили к ним. Свалка, где они раньше безраздельно хозяйничали, стараниями горожан обрела крышу в виде нашего дома. Им стало теплее, сытнее, интереснее: ночью, в поисках пищи, они проникали в шкафчики на кухне; деловито копошились в помойном ведре; через прорехи в стенах с топотом носились из квартиры в квартиру, пробегая по телам спящих людей. Серые полчища под полом пищали, гужевались, устраивали оргии. В первые годы мы пробовали с ними бороться. Подсыпали в углы пищевую приманку с ядом. Крысы в катакомбах дохли, и смрад в доме стоял такой — хоть на улицу беги!

Завели Маруську. Однако проявления у неё охотничьих инстинктов не дождалась. На уме у кисули было одно. Любого месяца ей — март. Про своих котят она скоро забывала и — по новой, слушать оратории похотливых котов.

От конфронтации с крысами пришлось перейти к мирному сосуществованию.

Нашим детям дырявый дом тоже нравился, обогащая их жизнь приключениями. Не будь щелей, им пришлось бы общаться привычным дедовским способом, преодолевая дверные заслоны. А для этого усилий-то сколько нужно? Сначала спросишь у родителей разрешения сходить в гости. Услышишь в ответ: «Уроки сделал?!» Сделаешь уроки, обуешься, накинешь куртку, выскочишь на стылую площадку, долго названиваешь в соседнюю квартиру, перетаптываясь от холода с ноги на ногу, дождёшься, когда Совёнок откроет дверь...

А её мама не пустила!

Через щели общаться было намного удобнее.

Без таможни, границ — напрямую. При этом ускоренно развивались как культурные, так и торговые связи. Характер товарообмена содержательно менялся в зависимости от возраста населения. Вначале ребята передавали совочек, зеркальце, яркие фантики, пупсиков. Затем, уже в школьном возрасте, — книжки, карандаши, альбом с семейными фотографиями, коллекцию марок. Когда Совёнок научилась писать, в оборот пошли записочки.

Дети подрастали.

Совёнок пошла в первый класс. Ходила важная, с огромным ранцем, с пышными бантами в светло-русых косичках. Мамаша проводила её до школы один раз, и на том провожанья закончились.

Мой Серёжка каждое утро дожидался Совёнка во дворе, заботливо брал за руку, и они торжественно шествовали в храм науки. А то ещё тетрадки с домашним заданием проверит. Сын опекал её без понуждения, охотно. Она благодарно молчала в ответ.

Я был уверен: с возрастом у Серёжки прихоть нянчиться пропадёт. Но время шло, а ничего не менялось. По мне, лучше бы он крепче за науку цеплялся, лишний раз книжку в руки взял. Прежде надо устроить свою судьбу, выучиться, твёрдо встать на ноги. Чтоб всё было как у людей.

Осень с холодами принесла ранние сумерки. Низкие тучи, когда пустые, когда с дождём, накрывали город. Дети теперь встречались реже. Раиса отдала дочь в «продлёнку», забирала последней. И Серёжка занят допоздна: пока из школы придёт, пока сбегает за хлебом, приготовит уроки — на дворе темно. Гулять не пускаем. Перед сном нужны спокойные занятия. Всё складывалось удачно, одно к одному.

Было видно: скучал он по ней...

А у Раисы — в ночь-полночь «карусель»! За стеной только ещё пробасит мужской голос, только начнётся перезвон гранёных стаканов, я уж точно знаю — сейчас соседка промурлычет:

— Натуся, зайка, пойдёшь погуляй! Поиграйся!

И Наташку, как бездомного котёнка, — за дверь.

Да ещё бросит вдогонку:

— Шапочку завяжи, чтобы ушки не надуло!

Выйдешь на улицу покурить, встанешь у подъезда, поёживаясь от стылой вечерней слякоти. С тополей, тяжело кувыркаясь, облетают последние усталые листья. Они ложатся на землю и обретают покой. Тусклый свет голубого окна едва обозначает готовую к снегу скамеечку. А в глубине двора — монотонно-прерывистое металлическое повизгивание: Совёнок качается на качелях.

Этот унылый скрип в чёрной тишине щемит душу.

Безотцовщина... Судьба девочки была очевидна. На дикой яблоне ничего не может вырасти, кроме дичка.

Как правило, «прихожане» у Раисы дольше одной ночи не задерживались, а тут... В феврале было. Заходит Совёнок. Сиротливо встала у двери, вид потерянный. Молчит. В безвольно опущенных руках — портфель. Какая она первоклашка?! Кнопка совсем.

Мой Серёжка встревоженно:

— Ты чего?!

Совёнок, не поднимая головы, пробубнила:

— Мамка сказала, завтра к нам дядя Жора переедет. Насовсем...

Сообщила и ушла. Серёжка схватил пальто, шапку и, на ходу одеваясь, выскочил следом.

Жорку Захлыстина знали. Тщедушный такой, занозистый... Несколько судимостей за плечами. Недавно освободелся.

На следующий день я засиделся на кухне с бумагами. Мои уже спали. Время от времени включал электрический чайник. Стараясь не греметь, подливал в заварник кипятков, помешивал ложечкой в стакане тающий сахар, не отвлекаясь от чтения, пил. Горячий терпкий напиток отгонял сон.

А за стенкой у Раисы — гульба... Через щель слышимость такая, что шёпот различим, а тут пьяные голоса, да на повышенных тонах.

— ...Жорка, ай!.. не приставай!

Раздался гогот, послышалась довольная возня. С пронзительным звоном что-то упало. Чавкающие чмокания перемежались с придыханиями Раисы:

— Да... стой ты... дочка... не спит. Слышь, пусти!

На минуту всё затихло. Затем откупорили бутылку. Гранёными стаканами глухо чокнулись, изобразив подводные карельские камушки. Не тостуя, выпили. Запахло огуречным рассолом. Мужской голос, заплетаясь, прогнусавил:

— Огурцы ни-ничего. Пошли в кровать.

— Дочка рядом, не буду!

— Пусть на кухне сидит.

Они с топотом подались в комнату, оттуда грубый окрик:

— Марш на кухню! Дай с матерью поговорить!

Раиса, играя в поддавки, согласно прыснула от смеха. Девчонка спросонья захныкала, послушно поплелась. Я тихо метнулся к настенному выключателю. Стало темно. Только там, где щербатая стена не достигала пола, пробивалась полоса света. Чёрные тени Наташкиных ног протянулись ко мне через щель до плинтуса, причудливо изогнулись, стали подрагивать. Наташка безутешно, горько плакала. Тени пропали, шаги стали удаляться...

Минутную ночную тишину разорвал пьяный рык:

— Ах ты, падла!..

Громкий топот, частое шлёпанье детских ножек.

Истеричный плач Наташки грубо ворвался через брешь. Я старался не дышать, чтобы ничем не выдать своего присутствия. За стеной захлопали дверки кухонных шкафчиков, зашуршала бумага, и на пол что-то посыпалось, словно бусы порвали.

— На колени!

— ...Дядя Жора, я больше не буду! — умоляла Наташка.

— На горох вставай... Сбежишь — убью!

Послышалась возня. Девочка приглушённо мычала. Я, как зачарованный, уставился на жёлтую полосу света и вдруг увидел: из щели выскочила... крупная сухая горошина. Покатилась по полу, ткнулась в мой тапок.

Пытаясь избавиться от неуютного состояния, поднялся и на цыпочках, чтоб не скрипнули половицы, вышел из кухни.

Наутро Серёжка, как всегда, дождался Совёнка во дворе, взял у неё портфель, и они потянулись к школе. Сын вернулся с уроков расстроенный. О причине я догадывался, потому не спрашивал.

Забудется со временем...

Вечером он достал любимую книгу, подушечку-думку, поставил на пол лампу, выключил большой свет и лёг на тканый половичок. От печки приятно потягивало теплом. Я сел на пороге, закурил, с интересом посматривая на сынишку. Маруська, наша рыжая радость, поластилась к нему, растеклась на груди. По ту сторону пограничной стены кряхтела Наташка, тоже устраиваясь поудобнее. (Видно, заранее условились!)

— Давай я тебе вслух почитаю, — предложил сын.

Совёнок кокетливо возразила:

— Нет-нет, Серёжечкин... Ты лучше что-нибудь расскажи... Какую-нибудь сказку.

— Про что?

— Про вашу Марусю.

Из щели появился тонкий берёзовый прутик, начал зазывно подрагивать перед самым носом кошки. Та нехотя махнула лапой и застыла, не сводя взгляд с прутика.

Мечтательно подперев ладонью подбородок, сын облокотился на подушечку:

— Сказки я умею только читать.

— А ты не знаешь, почему мою маму во дворе называют «Кошкой»?

— Не-ет.

— Потому что она самая-самая ласковая. Вот! Хочешь, я расскажу тебе свою сказку? Я сочинила её прошлой ночью.

— Ты придумала сказку? Сама?!

— Да-а. Рассказать?

— Расскажи, интересно.

Сын прижался щекой к мягкому урчащему телу кисули и приготовился слушать.

За стеной, будто за кулисами театра, детский голос таинственно промолвил:

— Жила-была на свете... маленькая девочка...

Сказительница вздохнула... и продолжила:

— Жила она с мамой за тридевять земель в сказочной долине, в маленьком белом домике. Была девочка очень-очень красивая. Её длинные вьющиеся волосы — цвета солнца. Ходила она всегда в красных башмачках и белых чулочках. А в той стране хозяйничали огромные злые крысы. Никто-никто не мог с ними справиться. Она страшно боялась крыс... потому, что у неё не было папы. Ты не думай, это я не про себя рассказываю.

Сын промолчал.

— Ту девочку звали Айгу — по-карельски значит «время». Айгу помогала маме по хозяйству: пасла овец, ходила с маленьким ведёрком по воду к ручейку. Мама пряла пряжу, а она сматывала нитки в клубок и по воскресеньям отправлялась в соседнюю деревню продавать красивые вязаные рукавички и носочки. Домой приносила вкусенькие карамельки. Наступал вечер, мама укладывала доченьку спать, гладила её по длинным локонам и нараспев говорила ласковые слова...

— Колыбельную пела...

— ...А сама грустная такая. Когда Айгу ходила на ярмарку, она заметила, что у всех-всех ребят есть не только мама, но и папа. И однажды Айгу спросила:

— Мам, а где мой папа?

У мамочки появились на глазах слёзы, она обняла доченьку и открыла ей страшную тайну: у Айгу тоже был свой папа, но злые крысы унесли его за высокие чёрные горы, когда она ещё совсем-совсем маленькая. Тогда мама оставила девочку на соседей и смело пошла по крысиному следу. Долго шла. День шла. Ночь. Привёл след к подножию самой высокой горы... Тебе интересно?

— Что дальше-то было?..

— ...привёл след к подножию высоченной страшной горы. А рядом стояла маленькая ветхая избушка. Мама постучалась в окошко, и к ней вышла добрая волшебница. «Я знаю о твоём горе, — сказала она. — Сама ты не спасёшь папу. Возвращайся домой, назови дочь именем «Айгу», и только когда она сама спросит о папе, выпей этот настой — фея дала маме изумрудный пузырёк, — ты превратишься в кошку. И сразу, вместе с Айгу, приходи сюда, к высокой скалистой

гряде. Крысы живут за ней. Там они и держат в заточении пленника. Раз в день, едва солнце коснётся вершины, огромные челюсти горы раздвигаются, одна половина её поднимается вверх, и появляется громадная щель. Бегите через неё на другую сторону хребта. В это время все крысы уходят на равнину за добычей. Коли до захода солнца вы не успеете папу спасти, гора снова опустится, челюсти сомкнутся, и вы навсегда останетесь в царстве крыс. Помни об этом!».

— Ты взаправду, что ли, сама это выдумала? — изумился сын.

— Слушай дальше!

Совёнок шумно завозёхалась:

— Мама вернулась домой, назвала доченьку именем Айгу и стала ждать. В тот вечер, когда девочка впервые спросила о папе, она достала волшебный пузырёк, выпила настой и превратилась в рыжую кошку. Вдвоём они отправились к дальним кручам. Шли день. Шли ночь. И дошли до зловещей горы-громады. Стали ждать.

Ночь постепенно растворялась в дне. Край солнца выглянул из-за сонной вершины. И тут раздался страшный грохот. Земля и скалы задрожали. Камни поднялись, и в горе открылась огромная чёрная щель. Узенькая тропинка ускользала вглубь. Зелёные кошачьи глаза хорошо видели в темноте. Кошка смело побежала вперёд, девочка за ней. Они пробирались между камней, берегами подземных озёр, пока пещера не закончилась. Вышли они из-под каменного свода и попали в густой дремучий лес. Деревья повалены друг на друга. Везде паутина. Сырость. Мрак. Солнышка там нет, одни светлячки своими огоньками-фонариками подсвечивают. Тропинка вела, вела их и привела к развалинам старинного заброшенного города. Куда дальше путь держать — не знают. Если не успеют до захода солнца, навеки останутся в сером царстве.

Неожиданно одна из чугунных дверей стала медленно, с тяжёлым скрипом, отворяться. Кошка и Айгу зашли внутрь. Смотрят: на большом деревянном помосте, укрытом шкурами крыс, сидят папа Айгу и красивый юноша. Не шевелятся. Глаза закрыты. Заколдованные потому что. Рыжая кошка прыгнула на помост. Обошла вокруг них трижды и, проходя мимо, каждый раз задевала их своим хвостиком. Пленники ожили, спрыгнули на землю и вместе с кошкой и девочкой — вон из крысиного царства.

Сказительница замолчала. Сделалось тихо.

Сын нетерпеливо:

— Ну?!.. Дальше!..

— А дальше я ещё не придумала. Но всё обязательно кончится хорошо. Не может дальше... нехорошо, ведь Айгу нашла своего папу. Главное, теперь они вместе: мама, папа, Айгу и... юноша.

Сын восхищённо захлопал в ладоши, воскликнул:

— Наташка, ты настоящая артистка!

Следующим летом подошла наша очередь на новую квартиру. Покидая «живой уголок», расставаясь с непутёвыми соседями, я и не пытался скрыть радости.

Что там потом стряслось у Раисы, точно никто не знал. Говорили, серенький котёнок, которого Совёнок подобрала на улице, напрудил Жорке в кеду. А у того суд скорый: на глазах у ребёнка он схватил живой комочек и — об угол плиты. На мать руку поднял... Нервное потрясение оказалось настолько сильным, что девчонка потеряла дар речи. Сожитель у Раисы долго не загостился, а Наташка так и осталась немой. Навсегда.

Может, болтали?..

...Прошли годы. Серёжка, несмотря ни на какие уговоры, поступать в университет отказался. У нас в городке окончил простое училище, отслужил в армии. И вот однажды, ранней весной, мы собрались на выходные в деревню. Сын обещал приехать позже... Не один, с невестой. С женой гадали-гадали: «Кто избранница?»

Я отправился на остановку встречать. Беспokoйно маялся у обочины, курил до того момента, пока на дороге, вдали, не показался рейсовый автобус. Я заметил ребят через боковое стекло: Серёжка стоял, положив руку на плечо невысокой хрупкой девушке. Сын был сдержан, девушка мельком глянула на меня, смущённо улыбнулась и склонила голову. Её лицо показалось мне знакомым... Словно где-то раньше я видел эти огромные выразительные глаза.

Я шагнул навстречу, взял у Серёжки сумку, с интересом разглядывая спутницу...

Совёнок?!

После секундного замешательства наигранно-весёлым голосом выдавил:

— Ну, здравствуй, Наташа! Совсем красавицей стала.

Она засмушалась, ещё теснее прижимаясь к Серёжке.

Мы добрались до своротки, что вела к нашему хутору. Спустились в тенистую ложбину. Тропинка держала плохо. То одна нога, то другая временами проваливалась, оставляя после себя в талом снегу глубокие лунки. Подошли к дому.

Стол накрыт, сели, завели разговор о погоде. Весна сей год была дружной, говорливой. Мы шутили. Натянута смеялись. Молчали. Переглядывались. Изучали Наташу. Совсем не похожа на мать: светло-русая тяжёлая коса через плечо, тонкие аккуратные черты лица, яркий румянец на щеках, милая улыбка. Бездонные, зелёные с карими крапинками глаза светились любовью к Серёжке.

Я взял вёдра, пошёл за водой. Не столько по надобности — хотел с мыслями собраться. А мысли в голове крутились разные... Вспомнил: соседка по старому дому видела их вместе, но тогда мне не захотелось в это верить.

Сел возле колодца на остывшую лавочку, закурил. Солнце удалилось на покой, укрывшись тучным небом. Вечерний морозец подсушил снежное месиво, превращая его в ноздреватый колючий панцирь.

После переезда из крысиного дома я и думать не думал про этих соседей. А мой Серёжка, видно, занозился. Не забыл своего Совёнка. Получается, после отъезда они встречались, дружили. Дела... Нам только невесты-инвалида, подранка только не хватало. Нужно спокойно объяснить, что она не пара ему. Я затушил сигарету, вдохнул полной грудью весеннюю свежесть и, зачерпнув воды, уверенно зашагал к дому. Ситуация теперь не казалась мне безвыходной. От найденного решения на душе сделалось спокойно.

За столом в комнате в уютной тишине пили чай. Деревенская кошка дремала у Совёнка на коленях, благодарно взмуркивая в ответ на почёсывание.

Я встал в дверном проёме:

— Наташ, а чем закончилась твоя сказка? Про Айгу-то, помнишь?

Совёнок всем телом подалась вперёд, попробовала ответить сама, но лишь некрасиво замыкала... Страдающее усилие исказило её лицо. Щёки запылали огнём. Она стала что-то торопливо, взволнованно объяснять Серёжке жестами и мимикой.

Сын несмело перевёл:

— Наташа говорит, что своего принца нашла и хотела бы... называть папой... тебя. Потому что ты добрый, хороший... Если ты, конечно, не против...

Мне словно душу оголили... Я почувствовал, как из неё с болью... выкатилась... крупная сухая горошина.

— Я... что я?.. Лишь бы вам было хорошо...

И будто... тяжёлый гнёт свалился с плеч.

Свалился тяжёлый гнёт...

Да, эта девчонка — волшебница!

Она предложила писать продолжение сказки всем нам. Кто знает, может, настоящие, счастливые сказки в жизни так и слагают. Вместе...

А невестка...

Станет нашей — будет хорошей!

*

Петрозаводск, 2008 год

НЬТИК

Николаю Михайловичу Сергованцеву

Сослагательное наклонение (лат. modus conjunctivus или subjunctivus) выражает намерение, осуществление которого зависит от известных определённых обстоятельств.

Википедия

По-настоящему его кличка Брайт, хотя зовут все Малыш.

Маша, дочурка, просила братика. Будто не понимая, о чём разговор, мы с мамкой купили щенка. Но назвать собаку «брат»? — Не поймут. Добавили букву «й».

Была и ещё одна причина завести четвероногого друга.

Есть дети — всюду шлындают с родителями, уши греют. Племяш у меня, тринадцать лет парню, всё-оо за папой-мамой хвостиком. Мы сидим, водку пьём — он ушничает. Лишнего не скажешь. А дочка ни в какую не желала с нами в гости ходить. И оставлять её без присмотра страшновато. Срочно требовалась заботливая нянька плюс отважный охранник — в одном. Причём, чтобы это была самая умная, самая красивая, самая преданная на свете собака. Как знаменитый Мухтар!

Восточно-европейская овчарка.

Мы, когда увидели щенка, поняли: он никогда не станет медалистом. Узкомордый, узкогрудый, с длинной шерстью. Постав лап узкий. (Балерина, шестая позиция.) Зато какой славный, ласковый! Пушистый-пушистый! Медвежонок. Моя щекой к нему прижалась и оставить уже не смогла. Наш Малыш!

С появлением щенка мы надеялись заодно выковать у дочери чувство ответственности. Мамка взяла с Маняши долговую расписку, что та «обязуется убирать за ним, выгуливать по три раза на дню». Доча читать-писать не умела: срисовывала буквы с образца. Старалась. Но клятва что? — Формальность! Составили так... для порядка, ребёнка помыкать. Разве ей углядеть за крупной псиной? Столько хлопот.

Весной — грязюка. Вымажется по уши. Лапы ему вытру, а толку-то? Рыжая вода с живота течёт, прячется за открытой дверью, чтоб не выгнали на улицу, сплющится, словно борзая. В глаза просительно смотрит: «На холод не гоните». Брошу коврик к порогу — не знает, как и благодарить. Засмущается, хвостом завилает.

Ложимся спать.

Выжидает, когда засопим... Потихоньку, потихоньку щемится в спальню.

Моя грозно:

— Куда лезешь?.. (Затаится. Может, не ему...) Тебе, тебе говорю.

Крутанётся. Растает в темноте.

Минута проходит, две... Опять — к нам, к нам, к нам. Приползёт, вытянется вдоль кровати, тяжело-полно выдохнет: «М-ммуу». («Вся семья вместе. Заботы позади. Можно спокойно заснуть».) Я руку опущу, почешу за ухом. Полная идиллия...

Как-то раз забыли прикрыть дверь в спальню: он стянул плед, отогнул одеяло, расправил хозяйскую кровать! И — на белую простынку. Дрыхнет на спине, храпит: «Хх-rrrrrr!» Мужик-мужиком. Брюла набок, язык завалился, слюнка — на крахмальную наволочку. Моя застучала. Как гаркнет! Он спросонья подхватился — и к окну, лапы на подоконник, на пустую улицу:

— Ы-rrrrr!

Типа: «Бдю!»

А у самого морда заспанная, мятая. До чего клоун пёс...

Вначале сомневались: как его возьмём в общий дом? Будет лаять. Не-ет. В дверь позвонят, постучат, если он в квартире один — пасть на замке. Молчит. Носом воздух втягивает, прислушивается: «Будут ломиться или уйдут?»

Мебель царапать или грызть? Даже не пытался. Единственное — испоганил уголок дивана. Я наложил заплаточку и поймел шикарную возможность его попрекать:

— Это кто сделал? А?! Брайт?

В таких случаях я обращался к нему официально, показывая своё «фэ».

— Спрашиваю, кто сделал?

Голову опустит. Уши заложит, виноватый такой. Я дово-о-олен... Пристрожил.

Ведь все Малыша только баловали, сюсюкались.

Ему конфетку дадут, проглотит и станет всем своим видом показывать, что не распробовал. Начнёт демонстративно в зубах ковырять, причмокивать, облизываться, сиротливо оглядываться. Какое тут сердце выдержит?! Машуня исполняет команду «Апорт!»

Тёща приходит, садится в кресло и сразу берёт «внучка» на руки. Он привык. Пока на руки не возьмут, будет следом ходить. Будет пищать, ныть, канючить: «Всё плохо. Меня тут не любят. Бабушка на ручки не берёт». Такой слюняй! Такой нытик! В детстве залезал целиком. Позже, когда вымахал кобыляка и весь не помещался, клал ей на колени передние лапы.

Ещё бы ему не вымахать... Ел — без меры.

Мамка из детсада ведро жорева притаранит — сметёт зараз. Разляжется, любитесь надутым животом и всё равно печенюшку бы ещё съел. Шлифанул.

По воскресеньям пёсик любил с мамкой блины печь.

Она что? Лишь тесто замесит, на сковородку наливает, блинчики переворачивает и стопочкой складывает, а уж дальше всё он. Сам! Каждый блин сосчитает, взглядом проводит. Румяный блинчик ему на нос положишь, без команды не съест. Сидит, затаив дыхание, масло сочится по морде, слюна течёт. Сначала выполнит обязательную программу: «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!». Подряд, без напоминания. Ползать вот не умел. Башку опустит, передвигает по полу передние лапы, а задница торчит. Такая корма плывёт!

— Взять! — эту команду обожал...

Хоп! — нету блинчика.

Считается: свою еду овчарка никому не отдаст. (Дай, думаю, проверю!) Моя угостила пса сахарной косточкой. Я руку медленно тяну... Он растерялся: то на кость глянет, то на меня. Занервничал. Вопросительно зарычал. Велюровые щёки, вибриссы подрагивают.

— Да подавись ты! Жадюга! Исчо «братом» хотели назвать...

Повернулся к нему спиной. Сел к печке, закурил. Пауза. Слышу, крадётся. Голову под руку пихает. Глаза виновато прижмурены, в зубах кость. В ладонь мне её суёт, дескать: «Бери, угощайся. Мир!»

Моя каждое утро ворчит на кухне:

— Чувствую, крыса ходит.

Как-то видим: пёс гонит... серая лощёная крысина. Пузо толстое, хвостяра длинный, голый. Коготки по крашеному полу: «цик», «цик». Загнал в угол. Та резцами стриждёт — никак не схватить. Кочергой её поддеваю, подкидываю. Пёс в полёте: «Чвак!» Готово.

— Ай, молодец!

Ему так понравилось весёлый кипиш наводить. Охотиться! Да ещё при этом хвалят. Как скомандуешь: «Крыса!» — он давай искать, всё переворачивать, шерстить.

Собака есть собака. Кто для чего держит: кто для охоты и охраны, а кто для души. Чтобы вырастить пса для души, надо, чтобы жил с людьми. Не в будке, не на цепи. Он должен слышать человеческую речь, разговаривать с тобой, быть членом семьи.

Идём вечером гулять. Безлюдная улица. Я ему:

— Далеко ли собрался?! Мы — на Советскую.

Поворачивает, идёт на Советскую.

Прохожий удивлённо:

— Вам какое дело?!

— Вообще-то я не с вами разговариваю...

— А с кем?!

— С псом.

— ?!

По молодости мы с ним много упражнялись, бегали. Десять километров каждый день, чтоб костяк хорошо развивался. Моя посчитала: мало нагрузки. (Со стороны оно, конечно, виднее...) Предложила сделать из него ездовую собаку. Купила упряжку. Поехали Машку катать. Малыш безотказно её возил, возил... Не роптал. Думал, совесть у барыньки проснётся. А Машка с санок слезла, даже спасибо не сказала. Псу пришлось воспитывать. Он деликатненько подошёл сзади и прикусил за спину... Через куртку, кофту — следы зубов. Дочурка орёт, а он недоумённо крутит головой: «Что такое?!» Честными глазками моргает: «Что это с ней? Может, попу отсидела?!» Ну до чего артист!

Обычно в машину сядем, он — следом несётся. Раз бежал, бежал, — надоело. Обогнал «Ниву», резко остановился на обочине, голосует: «Возьмите!» Я не успел затормозить. Смотрю: хоп! — в обморок упал. Удара не было. Неужели по лапе — колесом?.. Но не могли переехать. Если бы взаправду наехали, тут крику было бы! Он бы с ума сошёл... Мы его — в машину. Подглядывает за нами, щурит глаз. (С хитрецей пёс.) Домой привезли, осмотрели: лапка целая, не опухла, кровки нет. Трогаю: не орёт. Так, слегонца, постанывает невпопад:

— А-ааа...

На следующий день тёща заходит. Он к ней с жалобой. Морду страдальческую состряпал, скулит, хнычет.

— Малыш, что случилось?

— А-ааа... Лапку отдави-ии-ли...

— Ах ты бедненький!

Нинка порог не успела переступить. Ей навзрыд:

— А-ааа!

— Что плачет наша радость?

— Смотри са-ма-аааа... — и лапищу суёт под нос.

Целую неделю формировал общественное мнение: «Полнобуйтесь, какие чёрствые мне достались хозяева». Кляузничал, симулировал «бо-бо». А сам уже забыл, какую лапу поднимать. Путаётся. Шут!

Постепенно сытная кормёжка, физические упражнения превратили пса в рослую могучую овчарку. Малыш почувствовал свою силу и попусту зубам волю не давал. Первым не дрался никогда. Подойдёт, голову на спину чужаку положит, придавит: «Дёрнешься — получишь!»

Вот в любви Малышу не везло...

Наткнётся ноздрями на похотливый аромат, летит обалдевший по следу. Догонит свору, кавалеров-хахалей раскидает. Охочая сучка ему глазки строит, прихорашивается, тает в предвкушении... А наш понятия не имеет, как реагировать на эти экивоки. Прыгает, падает, охает. За мной прибежит, зовёт на помощь:

— Ав-ав-ав! Подскажи, покажи.

Мечется, слюни распустил:

— А-а-а! Уходит!.. Поговори с ней!

Переволнуется весь. Распихуется.

Тьфу! А я что? С ним, что ли, побегу?.. Сучку догнать?!

Первое серьёзное увлечение — водолазиха. Влюбился без памяти. И она согласная была. Но «папа» с «мамой» не разрешали. Боялись, испортит им родословную... Они лучше поглядели бы на себя в зеркало. Куда дальше портить?..

Второе — соседская Найда. Опять неровня! Не могла она держать нашего бугая. Ноги подкашивались. Раз — и падала.

Так пёс нецелованным мальчиком и остался.

А люди в нём души не чаяли...

Пожалуй, одна Ленка со второго этажа боялась Малыша. Дошло до того, что пёс, заслышав, как соседка спускается по лестнице и стучится к нам, без понукания уходил в дальнюю комнату, заперался. Знал: всё равно изолируют.

Ленка из коридора — в узенькую щель:

— Вы собаку убрали?

— Сама убралась...

Но ведь пса ещё и во двор надо выводить. Пришлось пятилетнему Малышу покупать намордник. Он так его невзлюби-ил... Надел и отвернулся. Я ему команду, он игнором

занимается. Лёг и давай лапами сдирать. Кряхтит, кажилится, издаёт неприличные звуки. Ноет. На жалость берёт. Я не уступаю, строгость блюду. Обиделся. Убежал на помойку, нашёл там вонючий целлофановый пакет из-под селёдки. Как всосал его через ремни? Ума не приложу. Вымазал всю морду, пакет торчит из пасти, вонища от него. И лобызаться лезет...

— Иди отсюда!

Намордник пришлось снять.

Действительно, зачем он такому «зверюге»? Гости придут, к каждому ластится, у кого лысина — облизывает, в глаза заглядывает: «Что мне вкусенького принесли?»

К моей с работы Нинка заскочила в богатой натуральной шубе. Гладит его. Умиляется. А Малыша невозможно не потрогать: весь пушистый, морда такая! глазки добрые, прямо бусинки ангельские. Угостила нашего лакомку конфеткой. Пёс, алаверды, подпрыгнул гостью чмокнуть и невзначай носом — ей в глаз.

Та как заголосит:

— Гла-ааз!

Моя вопит:

— Шу-уу-ба! Не порвал? Глаз-то проморгается.

Только у одного человека Малыш угощение не брал.

Яшка Макаров, мой напарник по работе, был вхож в дом. Яшка тыкает ему в моську куском «Любительской» — наш зубы щерит и отворачивается.

Пёс крепко невзлюбил его после одного случая...

Выпивший Макар стал задирать:

— Ну что за собака? Мямля! Вот тоже воспитали овчарку. Сейчас стукну хозяина... Будет хвостиком вилять?

Думал, шутит. Какой там... Пнул меня по ноге. Малыш в недоумении: «Что делается? Гость-то свой». Его никогда не науськивали. Наоборот, объясняли, что любой спор можно уладить словами. Пёс заметался, побежал к мамке на кухню, воеет: «Поди, посмотри, что творится. Разберись, прими решение». Приводит её в комнату, а самого не узнать: сделался упругим, подобранным; шерсть на загривке дыбом; щёки, бока от низкого утробного рыка подрагивают, глаза налились кровью.

А гость вконец раздухарился и пнул «со злостью».

Провоцирует:

— Ну, чё? Ну, чё тут ваша овчарка?

Глаза у собаки мутнеют, перекрываются жёлтой пеленой.

Яшка пуще дразнит:

— Секи, ублюдок, твоего хозяина бьют!

Взьершил мне волосы.

Малыш рванулся, я не успел среагировать. «Раз-раз-раз!» Кисть, локоть, плечо. Мигом перехватывается. Вижу, Макар бледнеет, пёс — к горлу... Я уцепился двумя руками за ошейник, тащу назад... Хрипит. Чувствую: если руки ослаблю, вырвет Макару горло. Моя верещит: «Ф-фу! Фу!...» На весь дом лай, рык, ор.

Еле уволок Малыша на кухню.

Макар снял свитер: рубашка вместе с кожей, с мясом выдрана. На шее след от «компостера». Яшка стёк по стене, присмиривший, опущенный.

После того Макар у нас появлялся, однако пёс ему больше не доверял. Сверлил взглядом: «Ты какой к нам сегодня пожаловал? Добрый или злой?» Трезвому Малыш позволял перемещаться по квартире, под конвоем. Макар — в туалет, пёс — за ним, гость — в комнату, Малыш — следом: «Я тут! Присматриваю за тобой». Чуть что не так — прижмёт. Макар рюмку выпьет, мы пса — в сарай. Иначе жвакнет. Не сильно, но с чувством.

Яшка стал бояться его...

Тем летом был редкий урожай грибов. В конце августа, как свободный вечер, мы — в лес, рядом с посёлком. Собирали для себя и на продажу. А ведь машину теперь на лесной дороге так не оставишь. Однажды, после полудня, поехали в сторону Лёдки. Взяли с мамкой по корзине, решили обойти краем ламбушки. Малыша оставил в машине. Замки не запер. Зачем при такой охране? Пёс принялся было нить, я надавил на сознательность, напомнил о собачьем долге. Назвал Брайтом. Он тяжело вздохнул. Проникся. Растянулся на заднем сиденье.

Отошли от машины:

— Малыш!

Голову поднял, ушами стриганул: «Я тут, охраняю. Всё нормально!»

Лёгкий ветерок с шелестом пересчитывал сухие листочки на деревьях. В ожидании осени верхушки осин, рябины зарделись, высокая переспелая трава потеряла былую сочность. Перед тем как остыть, солнце припекало, давая возможность насладиться нежными невесомыми лучами. Последняя бабочка лета опустилась на пыльное лобовое стекло. Она расправляла чёрные перламутровые крылышки, сонно охорашивалась, перебирая усиками. Пёс смотрел на неё ошалело, с изумлением наклоняя голову то на один бок, то на другой. Хотел слизнуть, но лишь провёл языком по стеклу.

Глухой нарастающий гул привлёк Малыша задолго до того, как узик вынырнул из-за поворота. Чужая машина остановилась метров за тридцать. Двигатель заглушили. Малыш не понимал толком, что его насторожило. Вроде, машина как машина — обычная. За то время, пока не было хозяев, проехало несколько таких же или почти таких. Двое людей сидели в кабине и отчего-то выходить не спешили.

Между тем поведение их начинало безотчётно беспокоить пса... Он упёрся передними лапами в спинку сиденья, шерсть на загривке встала торчком, опустилась, опять вздыбилась. Хлопнула дверка. Малыш узнал человека: Яшка Макаров неспешно шёл к нему и натянуто улыбался. Время от времени останавливался. Воровато оглядывался. Несколько раз вполголоса позвал:

— Толян! Э-ээ!

Никто не ответил. Хозяева были далеко.

Малыш учащённо задышал. Верхняя губа, нервно подрагивая, обнажала белые клыки.

Макар подошёл к «Ниве», криво ухмыльнулся:

— Ну что, тварь? Встретились на узкой дорожке?..

Он пнул по колесу. Малыш злобно сверкнул глазищами, в горле угрожающе заклокотало ррр-рычание. Узик подъехал вплотную. Подельник достал баллонный ключ, домкрат, принёс от потухшего костра с обочины берёзовый чурбак.

Налитые ненавистью глаза Малыша... заах-лѣбывались... наглостью этих двоих... Они присели на корточки. Открутили гайки! Машина ранено дёрнулась, накренилась. Макар снял колесо, закинул в узик... Пёс хрипел от бессильной злобы. Горячие брызги слюны сочились с длинного лилового языка, веером разлетаясь по салону. Люди нехорошо смеялись, замахивались на него, поддразнивали, снимали одно колесо за другим, ставили вместо них чурки и грузили к себе хозяйское добро. Работали споро. Десяти минут не прошло, как «Нива» зависла, полностью разутая. Малыш вне себя от ярости рычал, лаял, метался внутри, неистово рвал когтями обшивку салона. Пытался разбить обманчиво доступную преграду грудью, но лишь раскровенил морду. По стеклу, измазанному густыми пятнами крови, тянулся размашистый след когтистой лапы.

Яшка наклонился к самому окну:

— Отравить бы тебя... Да пачкаться неохота. Сам подохнешь.

Малыш грохотал, выплёскивая лай в слащавую физиономию, стальные клыки его металлически клацали, рассекая пустой воздух в нескольких сантиметрах от недоступной кадыкастой глотки.

Подельник заскочил в узик:

— Оставь его, Макар. Сматываться надо. Ещё заметят!

— Им же хуже...

Малыш тыкался мокрым лобешником в жёсткое стекло. Плохие люди уходили безнаказанно. Он слабел на глазах. От унижения. От собственного бессилия. Лапы его подкосились. Малыш качнулся и завалился набок. Прикрыв глаза, он хрипло дышал, шумно втягивал пастью и носом спёртый воздух. Бока его широко раздувались, изо рта лезла густая клейкая пена, рваными хлопьями падая на окровавленный каркас сиденья.

...Кому довелось маяться в районной больнице тягучими выходными днями, подтвердят — тоска смертная. Новый сосед по палате от нечего делать спросил Толика про собаку, а тот, словно дитя малое, не распознав едва прикрытого равнодушия, оживился, подоткнул подушку повыше и начал, начал...

Картинки всплывали, заслоня одна другую.

— Идём назад, корзины полные. Солнце жарит. Сквозь деревья уже вижу машину. Малыш всегда чувял нас задолго, лаем встречал. Тут — молчок. Моей ничего не говорю, у самого сердце сжалось от недобрых предчувствий. Что-то случилось... Громко позвал: «Малыш! Малыш!» Тишина.

— И что с собакой?..

— Выбрались к машине. Пса не видно. Распахнул нагретую дверку — лежит, будто мёртвый. В салоне погром. Кругом шерсть, кровь, слюна, горячий удушливый запах собачатины. Пока ловили попутку, пока на «скорую». Уколы делали...

День-другой проходит...

Брайт крепко сдал. Начал зад подзакидывать. Подписываться стал, подкакиваться. Если совсем плохо, просился на улицу. Уйдёт в дровяник и останется: «Не хочу вас обременять». Там всё зароет. Лежит один. Видно было: не выкарабкаться ему... Как будет подыхать? Изведёт нас. Он ведь такой жалобщик, такой пискун.

Как-то раз в обед я пришёл, на улице дождь.

Моя:

— Толь, проведай пёсика.

— Дай полежать...

— Если тебе не нужен кобель, если надоел, усыпи. Зачем мучить животину? Машка с кавалерами гуляет, ей нянька без надобности.

Ну, раз так... Думаю, сколько будет стоить? Поехал в ветлечебницу. В субботу не работают...

Сосед заслушался и не сразу обратил внимание на тихое поскуливание за окном...

— ?..

Толик усмехнулся:

— Малыш.

— Так он жив?!

— Оклемался. Начал потихоньку вставать, телепаться. Считай, два года прошло. Старбень-старбень: не видит, не слышит почти ничего, а таскается сюда каждый день. Навещать приходит. Мне к нему не выйти. Ноет и ноет. Всю душу вывернул... Нытик!

Сосед подошёл к окну. Тёмные голые ветки тополей топорщились, противясь настойчивым порывам северного ветра. Внизу, вдоль больничных окон, по мёрзлой земле, неуклюже расставляя лапы, ходил и поскуливал огромный старый пёс. Шерсть на нём висела клочьями, окрас из некогда яркого чепрачного поменялся на тусклый рыжевато-седой. Мужчина участливо постучал по стеклу и пошёл обедать.

Малыш беспокойно задрал вверх крупную седую голову...

Не в силах точно определить направление звука, он растерянно постоял, снова заковылял вдоль стены. Время от времени замирал, принюхивался в надежде уловить родной запах, затем крутанулся на месте, устало лёг. Положил тяжёлую голову на вытянутые передние лапы, прикрыл слезящиеся глаза.

Малыш был предан Толику навсегда.

Предан без всяких там оговорок и незнакомых псу сослагательных наклонений.

Ключая ноябрьская позёмка заметала его сухим снегом. Малыш терпеливо жмурился и улыбался во сне. Ему снились ласковое лето, тёплое солнце, и они опять вместе. Всей семьёй...

*

Петрозаводск, 2009 год

Поводырь

Из трилогии «Кавказ» (Хождения в Дагестан, Абхазию, Ингушетию)

Учителю посвящается
(Мам, в первую очередь тебе!)

Учатся у тех, кого любят.

Иоганн Вольфганг Гёте

Директор школы искусств попался немногословный:

— Зовут Агаев Магомед. Родился первого апреля...

— Какой несерьёзный день.

— ...пятьдесят девятого года. В Татляре окончил начальную школу, с четвёртого класса — в Дербент, интернат №1. Вот, пожалуй, и всё, что могу поведать о себе такого.

Я разочарованно отодвинул блокнот. На белой странице сиротливо повисла короткая строчка. (Называется: «Послушал интересного собеседника!»)

— Вы лучше напишите про моего учителя музыки.

— ?..

— Антонин Карлович Качмарик — чех по национальности, ему лет семьдесят было. Совершенно слепой — пустые глазницы. Казалось, сам недуг этот физический — горькая плата небесам за великий талант педагога. Всегда в круглых чёрных очках, с тросточкой, и наперевес сутулой фигуры — баян...

Не забуду первые дни в интернате...

Внизу — классы, на втором этаже — жилые комнаты. Какое-то всё одинокое, чужое... После уроков я болтался по пустым коридорам, притирался к углам... Никого не знаю, коридоры тёмные, длиннющие, потолки высоченные. Это тебе не уютные саманные сакли в нашем ауле... Каждый шаг отзывается гулким эхом: «Бух — ббу-уух». И тут слышу приглушённые звуки живой музыки... Я, точно зачарованный мотылёк, поплыл на огонь (музыка нравилась мне). Остановился у двери актового зала. Стою себе, слушаю. Интересно... Тихонечко, стараясь не скрипнуть, потянул тяжёлую дверь, подглядываю в щёлку: седой старик в чёрном костюме играет на баяне, дети с незнакомыми музыкальными инструментами. Вдруг баянист поднимает руку, оркестр замирает, старик резко поворачивается лицом ко мне... На глазах у него круглые чёрные очки. Сле-пооой! Сперва я дёру хотел дать... Что-то остановило...

— Кто-оо там?

Голову просунул поникшую:

— Агаэв... Магомэд.

— Ну-ка, заходи.

Я парень сельский, как такового русского не знал. Захожу.

— Так, говоришь Магомед?

— Ы-ыы, — киваю.

— Редкое имя. Откуда ты?

— Татляр.

Он обращается ко мне, а я не знаю, куда смотреть. Глаз не видно...

— В каком классе?

— Чэтырэ, — для верности показываю на пальцах.

Все дети глазают на меня, но никто не смеётся.

— Тебе музыка нравится?

— Так-то нравытца...

Он пальцами отстучал по столу ритм:

— Повтори.
Пересилив робость, я повторил. Самому даже интересно...
— Приходи завтра после уроков на кружок.

Ночью мне снился слепой старик в круглых чёрных очках, он водил меня за руку от кларнета к скрипке, от скрипки к балалайке, баяну и что-то разъяснял... Хотя я не умел играть ни на одном инструменте, какие-то данные у меня, похоже, были. Отец мой неплохо играл на зурне. На другой день еле дождался конца уроков — бегом в зал. Постучался.

— А, Магомед, заходи.

Старик говорит, а голова при этом непривычно — в сторону: то одним боком, то другим, будто собеседника ищет. Задумчиво подходит к пианино:

— Запомнишь, какие ноты возьму?

И стал по очереди перебирать клавиши. Звуки мне в слух врезались. Я в той же последовательности нажал гладкие чёрно-белые палочки.

Он пропел:

— Ля... ля-ля... Сможешь повторить?

Я спел.

— А вот так: та-та-та-та-тааа...

Я опять.

— Магомед, ты способный мальчик, у тебя всё получится.

Жарко стало! Слова такие... Бабушка Патимат любила повторять: «Если похвалить, даже ослиный помёт подпрыгнет». Но сначала я не знал ничего, он растолковывал:

— Нотный стан состоит из пяти линий и семи нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.

— Как цветов в радуге? — простодушно спросил я.

Старик замолчал, будто споткнулся... По лицу пробежала грусть.

— Да, как в радуге... Начерти пять горизонтальных линий. Ниже поставь точку: там нота «до» пишется.

Оказывается, «до» рисуют на добавочной.

Мы разучивали с ним ноты — четвертные, восьмые, шестнадцатые... Он не мог мне показать и написать ручкой или мелом... Всё обозначал богатой мимикой, голосом. Я пишу за ним под диктовку, а сам вслух проговариваю, куда какой кружок рисую. Антонин Карлович учил азам. Служил мне... поводырём в мире музыки! В оркестре было много разных инструментов: домра, балалайка, тромбон, контрабас. Хотя не на всех играл, но знал он их досконально. Я был пытливым. И так увлекательно с ним заниматься, словно, искра... пробежала между нами...

Через месяц на одном из занятий он спросил:

— Магомед, какой инструмент тебе ближе других?

— Вот.

Я бережно взял в руки кларнет и передал учителю. На кларнете тогда у нас играли везде: на свадьбах, сельских праздниках...

— Возьми его, поставь мундштук и дунь, просто дунь. Получится нота «соль». Палец на первую клавишу — это «ми».

Дую.

— Магомед, мальчик мой, неправильный звук. Ты недостаточно воздуха дал. Прижми трость плотнее, мундштук глубже. Постановку губ измени. Чиркни язычком!.. Сделай «ту», как семечки лузгаешь...

И начал показывать: в один день — один звук, в другой день — другой.

Кларнет — небывало сложный инструмент. Но постепенно, постепенно... Не одним днём, месяцами продолжалась учёба. Стало получаться и... нравиться: «Я сам могу на кларнете звук издавать!» А когда смог по-настоящему сыграть... О! Клянусь, гордился собой. Подошло время, он выдал мне кларнет напостоянно, принял в оркестр. Так же я осваивал домру, балалайку... Зимой на школьном вечере солировал. Летал... на небесах! от восторга. Девочки-одноклассницы подпевали. Спустя год я стал в оркестре «первой скрипкой».

Когда начинали изучать новое произведение, я читал его вслух по нотам:

— Ми-четвертная, соль-восьмая, две ми-восьмые, до-шестнадцатая...

Он всё запоминал. Мы играем — он слушает. Вдруг останавливает. Едва заметная гримаса передёргивает морщинистое лицо:

— Какая там нота идёт?

— Восьмая.

— Ты неправильно сказал, мальчик мой. Не может быть восьмая, посмотри внимательнее...

Благодаря абсолютному музыкальному слуху он заявлял это так уверенно, будто не я читал ноты, а он...

— Вы правы, Антонин Карлович!

Когда приближались большие праздники — Первое мая, День Советской армии или День Победы, — он собирал в актовом зале ребят поспособней, и все готовили праздничный концерт. Набирали хор, человек двадцать, разучивали песни. В основном революционные: «Прощание славянки», «Варшавянку», «Взвейтесь кострами», «Варяг», «Шёл отряд по берегу»... На два голоса пели. Антонин Карлович сам аккомпанировал на баяне и дирижировал:

— Кто там вторым голосом тянет? Сереза Табова, неправильно поёшь. Али, не ту ноту взял. Попробуй ещё.

И по-новой. Десятки раз. Пока не добьётся идеального исполнения.

Так же как меня, он учил всех сельских детей: аварцев, даргинцев, азербайджанцев, лезгин... Музыка стала для нас вторым языком межнационального общения. Ни один парад, ни одно торжественное мероприятие в Дербенте не обходилось без нашего знаменитого оркестра медных инструментов. Впереди колонны всегда шёл мой одноклассник Мугутдин, ему Антонин Карлович доверял нести большой барабан: Мугутдин отчаянно бил в него колотушкой, не всегда в такт, но вдохновенно и с большим чувством.

Хуже было с общеобразовательными уроками музыки. Мои сверстники на них усердия не проявляли, а я, вместо того чтобы погрузиться в любимую сферу с головой, терпел их проказы:

Начинается, к примеру, перекличка в классе:

— Надир.

— Я!

— Руханият.

— Я!

— Али.

Надир вместо него выкрикивает: «Я!»

Антонин Карлович с упрёком качает головой:

— Нет, это не Али. Ведь так, сынок?

Положит руку мне на голову. Я подтверждаю:

— Да, это не Али, ребята шутят.

Ему я не смел солгать. Как Антонину Карловичу хватало на нас терпения? Ума не приложу. Он никогда не взрывался... Идёт урок. Сидим: шесть парт — так, шесть парт — так. Солнечный зайчик, отражённый карманным зеркальцем, пробегает по глобусу, беззвучно скользит по доске, останавливается на учителе. Ярко-белое пятно высвечивает засаленный карман пиджака, грубо заползает на лицо. Антонин Карлович, чувствуя тепло, ощупывает поочерёдно нос, губы... Раздаётся сдавленный смех.

— Ученик, который сидит на пятой парте слева... Магомед, назови имя.

— Руслан.

— ...Руслан, выходите, пожалуйста, из класса.

А Руслан смеётся уже в голос и не встаёт. Я в классе никого не боялся и всегда был за учителя горой:

— Руслан, тебе же сказали...

Тот нехотя вылезает из-за тесной парты. Мне неудобно при ребятах... но как по-другому?.. Антонин Карлович — человек мудрый, добрый, многому научил.

Клянусь, счастлив, что судьба свела нас!

— Магомед, сынок, ты постигай русский язык. Читай больше: рассказы, стихи. Старайся. Это великий язык! Вот послушай:

А весною я в ненастье не верю
И капелей не боюсь морозящих.
А весной линяют разные звери.
Не линяет только солнечный зайчик.

Я старался читать.

Прочно засел этот человек в душе моей... Думаю, чувство было взаимным. Он всё больше открывался. И в слабости своей тоже:

— Магомед, до дому поведи.

А я ещё тогда улиц не знал, однако не отказывал. Мне даже гордо... Он брал меня за руку, мы шли пыльными улочками... Предупреждает:

— Там лестница будет... — спускаемся. — Теперь налево, в калитку.

Получалось: не я его по городу веду, а он, незрячий, ведёт меня. (Зоркости ему было не занимать: слепой видит Бога духом.) По натуре Антонин Карлович темпераментный, неугомонный в работе. Теперь я сопровождал его повсюду: домой, на уроки музыки в третью школу, в детдом. Отныне, кто бы ни предлагал себя в провожатые, он мягко отказывался: «Спасибо, пойду с Магомедом!» Ребята за глаза дразнили учителя: «Магомедов дедушка». И надо мной... надо мной тоже ехидно насмеялись, подтрунивали:

— Мы сейчас в футбол идём играть, на море купаться, а ты со своим безглазым Кошмариком попрёшься?.. Поводырь! По-во-дыырь!!! Ы-ыыы!..

«Почему люди такие злые?!» — навязчивая мысль эта тугим обручем сжимала сердце. Я не обижался... впадал в какое-то зазеркальное состояние и лишь глядел на кривляющихся, скачущих вокруг мальчишек, разглядывал их удивлённо, рассеянно... Точно никого не узнавал... Да, свою жизнь я полностью, без оглядки посвятил любимому учителю. «Мой кобзарь», — мысленно величал его. Он не отец мне, не дедушка, не дядя... Оказалось, важнее. Привязался я к нему. Каждый день, каждый шаг рядом: на подхвате, на страховке. Мир солнечный или лунный, туманный или звёздно-ночной — для него единокрёрен. И уже никогда-никогда радуга не споёт для него ослепительными красками-нотами. Зима ли по-хозяйски вступает в свои права, оголяя деревья, застилая кавказское предгорье белым-пребелым снегом, весна ли, восточная красавица, будоражит светом землю, виноградники, горы, небо и море, — всё для него переводилось в язык звуков, в свист ветра, в щебет или молчанье птиц, в «тепло-холодно». Антонину Карловичу главным органом чувств, его глазами, служили память и я. Разучивает допоздна новую мелодию, спохватится — ночь глухая... Поднимется к нам в палату, от порога прислушивается, по дыханию узнаёт меня. На ощупь подходит:

— Магомед, проводи.

Встаю. Знаю: никто другой не поведёт. Все спят. Сонный одеваюсь, глаза слипаются... Колючий снег на дворе. Кутаюсь в жиденькую мышастую одежонку. Холодно! Иду с ним по ночному городу, за руку держит. Рука у него добрая, тёплая. Он жил далеко от интерната, за базаром... В одну сторону мы иногда успевали на автобусе, обратно нет. Обратно — я один...

В ночь, пешком, закоулками, кругом будто чернилами залито... Жутко.

Бывало местные приставали. (Я ещё тогда заметил: плохие люди по ночам не спят!) Убежать успевал не всегда. Дрался с ними, если двое-трое. Если много — терпел. По пинку каждый отвесит и с улюлюканьем, шайтанским гоготом прогонят:

— Не суй нос в наш район!!!

В следующий раз иду — опять караулят.

— Ты не понял, ишак?.. Сын ишака!..

Пять лет, пока учился в интернате, я с ним так и ходил.

Восьмой класс близился к концу.

Куда дальше? Хотелось поступить в Дербентское музыкальное училище, но без профильной школы не берут. О своём желании я проговорился учителю. Он успокоил:

— Не горюй! Примут.

Взявшись за руку, мы вдвоём пришли к преподавателям (а это, оказывается, всё бывшие его ученики). Отрекомендовал меня:

— Зачислите. Мальчик подготовленный.

Там я узнал, что многие именитые виртуозы обязаны начальным шагам в мире гармонии звуков моему устазу [1], этому скромному слепому музыканту.

Антонин Карлович сильно сдал в последнее время. Нemoшь, старческое увядание безжалостно подступали. Когда я собрался из интерната уходить, он попросил:

— Магомед, отведи меня в дом престарелых. Не хочу здесь один...

В ту ночь я почти не спал. Временами горло сдавливал себе... звука не проронить чтоб... «Да, что же это?! В приют!» У нас на Кавказе родителей не бросают... (Я ни разу не слышал.) Мой дедушка Гасан до сих пор ухаживает за своим отцом, которому девяносто семь лет. Тот, выходит, мне прадед. Прадед Хаким. У него белёсый посох, густые брови и косматая чёрная папаха. Дедушка Гасан сам приносит ему кумган для омовения [2], бережно поддерживает отца, помогая ему, словно маленькому, шажок за шажком выйти во двор, подышать свежим воздухом, полюбоваться на солнышко, на птиц в небе. Заботливо укроет старой порыжевшей буркой. И Хаким, созерцая бытие, незаметно задремлет... Дедушка Гасан ревниво следит, чтобы никто, даже случайно, не нарушил безмятежный полусон отца. Мы все безропотно повинемся прадедушке Хакиму. Мои братья-сёстры, отец, и мама, и даже бабушка Патимат.

Один раз я иду из школы, смотрю: дедушка Гасан сидит перед домом на лавочке и горько беззвучно плачет. Борода подрагивает. Я кинулся к нему, трясусь весь от негодования: «Дедушка! Милый дедушка! Кто посмел тебя обидеть? Назови!» Я готов был сурово наказать обидчика. «Оте-е-ец Хаким... посохом би-иил...» Дедушку Гасана мне ужасно жаль, но что я мог поделать?.. В таком вопросе ему никто-никто помогать не станет. Прадедушка Хаким в тухуме старейший и, значит, самый главный! Просто нужно слушаться старших.

А Дом престарелых — кладбище живых... Если б только мог, забрал бы любимого учителя к себе. Но пока я был всего-навсего студент первого курса. Жена Антонина Карловича умерла, детей двое, сын и дочь, — после школы разъехались кто куда, и дела нет... (Он не любил вспоминать.) И вот теперь мой любимый учитель... в сиротский приют, как совсем никому не нужный, брошенный человек. За день до начала занятий я проводил его туда, довёл до палаты. Нянечка выдала комплект серого постельного белья, я застелил казённую кровать. (Что ещё мог сделать?..) На прощанье грустно обнялись. Его чёрные очки с дужкой на оранжевой проволочке съехали набок... Из пустой глазницы вытекла крупная слезинка.

Едва сдерживаясь, ушёл. Оставил его одного.

У ворот оглянулся, увидел в окне сутулую фигуру и... слезами задохнулся...

За время учёбы частенько навещал.

— Магомед, у меня всё хорошо. Главное — учись прилежно.

После окончания училища вот бы первым делом к нему, с новеньким-то дипломом...

Нет! Помчался домой.

А осенью, когда удосужился, с пакетом фруктов... Его уж не было. Опоздал...

В приёмном покое сухо известили: «Умер. Остался баян». Мне разрешили забрать. Кто хоронил учителя? Где?.. Неизвестно. Мы тогда были молодыми, не придавали большого значения утратам. Если бы время вернуть назад и ещё раз дать нам шанс... Сегодняшним-то умом организовали бы, конечно, и почести, и похороны достойные. Нет, никто и никогда не даст нам переписать жизнь на чистовик...

Александр, я не сумел...

Тебя прошу, не дай этому светлому человеку умереть, прекратиться.

Напиши о нём, как есть.

Благодарение и хвала Тому, кто не умирает.

Да будет так!

Примечания:

[1] Устаз — наследник Пророка, учитель;

[2] Кумган (тюркск.) — узкогорлый сосуд, кувшин для воды с носиком, ручкой и крышкой, для умывания и мытья рук, а также подмывания, исходя из традиции отправления естественных потребностей на исламском Востоке. Кумганы изготавливались из глины или из металла (латуни, серебра).

Сострадание

Эссе

Из книги «Земное притяжение»

Напомню тебе один случай, который произошёл на твоих глазах в детстве.

Ты зашёл к своему сверстнику в гости. На кухне сидела его старенькая бабушка. Она психически больна. Несмотря на свой недуг, это была сама доброта и труженица, каких поискать. Чтобы чем-то помочь взрослой дочери по хозяйству, она бралась за любую работу. И хотя посуду после неё принято было перемывать, она старалась как могла. Зато связать носки, соткать половик — мастерица. Вот и на этот раз, сидя на кухне, она вязала носки любимому внуку. Самому дорогому ей человеку!

Его приход из школы — для неё тихая светлая радость...

Родным ей был карельский язык — язык малочисленного исчезающего народа. Нас очень смешило, когда на непонятном наречии она тихонько молилась, а на русском пела непристойные частушки.

Твой друг стыдился своей бабушки.

Досада накапливалась.

Когда вы разделись и прошли на кухню, она прервала своё рукоделие. Открытая улыбка осветила её лицо. Поверх очков на внука смотрели излучающие доброту глаза. Натруженные руки с вязальными спицами расслабленно опустились на заштопанный передник. И вдруг... клубок шерстяных ниток озорно, как живой, выскочил из неуверенных рук, разматываясь и уменьшаясь.

Опираясь на кухонный буфет, она тяжело поднялась с устойчивой деревянной табуретки. А дальше... (надо же было такому случиться!), нагнувшись за клубком, она нечаянно задела внука, который наливал себе в кружку молоко. Рука качнулась, и молоко расплескалось...

— Дура! — в бешенстве прокричал внук.

Всё произошло так быстро: он зло схватил тяжёлый сковородник и, выбегая из кухни, с порога, изо всех сил, бросил им в бабушку. Сковородник попал по опухшей бабушкиной ноге. Её полные губы задрожали, и она, что-то причитая на родном языке, придерживая рукой больное место, с плачем опустилась на табуретку.

Слёзы текли по её покрасневшемуся лицу.

Не помня себя, ты схватил шапку, пальто и выбежал из дома.

На Душе было гадко. Но Тело успокаивало:

— Бабушка не наша. Нам-то что? Пусть сами разбираются...

Спустя много лет ты воспринял её боль как свою собственную. С тех пор эти воспоминания для твоей Души — открытая рана.

Я, как твой Разум, пытался понять, почему мир несправедливо жесток? Может, он просто неразумен? Существует интересный афоризм: «Мы думаем слишком мелко. Как лягушка на дне колодца. Она думает, что небо — размером с отверстие колодца. Но если бы она вылезла на поверхность, то приобрела бы совсем другой взгляд на мир».

Человек тоже способен видеть только то, что Вершитель судеб готов приоткрыть ему в конкретный момент. Всему своё время. И его не ускоришь, механически передвинув вперёд стрелки часов. Быстро развиваются только простейшие организмы.

Меня осенило: и «слёзки невинного ребёночка» в произведении Достоевского, и «подвиг» твоего одноклассника в отношении родной бабушки, — всё специально подстроено только для того, чтобы пробудить сострадание именно в тебе.

Пусть действительно не изменить судьбу книжного героя и поступок бездуховного Тела не скорректировать задним числом. (Прошлое неподвластно никому, даже Богу.) Но есть ещё настоящее и будущее. Как поступать в подобных ситуациях впредь?

Кто-то снова и снова проигрывает в сознании яркий ролик из неприятных воспоминаний. Это — своеобразный тест, предложенный свыше. Во время поисков правильных ответов формируются мысли и чувства.

И вот детство подходит к концу.

Детство — сон Разума и Души.

*

Дубок

Притча

Из трилогии «Кавказ» (Хождения в Дагестан, Абхазию, Ингушетию)

Молодой Дубок вертел-красовался своими редкими листьями и поглядывал снизу вверх на старые морщинистые громады дубов-предков, растущих невдалеке.

С ехидцей он размышлял:

— Листья у меня тоже красивые, с волнистыми краями, почему тогда старики — на виду, а я всю жизнь прозябаю в их тени? Чем я хуже?..

Пичужка села ему на ветку:

— Ой! Ты не очень-то!.. Своими коготями!!! Больно ведь! — взвизгнул Дубок, оглаживая свою нежную кожу.

— Извините, пожалуйста!.. Я нечаянно, — обескуражилась птаха.

— За нечаянно — бьют отчаянно!

— Вы такой юный и уже дерзкий.

— Когда ещё быть дерзким, если не в юности?.. Мои прадеды и прабабки стоят, боятся шелохнуться, не то что дурной пример подать — развалятся сразу... Ах-хха-ха! — самодовольно расхохотался Дубок.

— Вы говорите о старших так непочтительно, что я вынуждена раскланяться с вами, — и птичка улетела.

— «Раскланяться»... Подумаешь, недотрога. Какая ей разница, где столоваться! Червяки везде одинаковые.

Дубок ещё долго запальчиво бросал колкие реплики в адрес улетевшей птички, но в душе понимал: что-то здесь не так. Даже если взять червячков-ползучков, всяких там гусениц, личинок, муравьёв и божьих коровок... На его нежных веточках их нет. Все они, как сговорились, селятся в толстом слое прелых листьев, которые годами, столетиями устилали землю, осыпаясь со старых дубов. А следом за личинками, паучками слетаются птицы и вьют на разлапистых крепких ветвях старых дубов гнёзда. В гнёздах выводятся птенцы, из них вновь вырастают птицы и всё по-новой... Из века в век.

— Несправедливо! — покачивал головой Дубок. — Им — всё! Мне — ничего! У них прямой доступ к солнцу, а я из-за них годами сижу без света. Хватит!!! Натерпелись.

Желание сбросить путы, стать вровень... нет! выше их!!! краше, заметнее предков настолько обуяло Дубок, что он, в какой-то момент чуть не засох от зависти.

— Я им ещё устрою! Они у меня поплачут!.. — злорадно вспыхнул он, угрожающе затрепетав всеми своими десятью листьями. Шума, гула не получилось, поскольку листья не касались друг дружки, но трепет был впечатляющий. — Нужно лишь найти союзника, — мучительно, днями и ночами, сутки напролёт мечтал Дубок. — Ветер! он мне поможет. Ему какая разница: он с ними заодно, и ко мне заглядывает.

И ветер, откликнулся на его просьбу. Он поднялся сперва лёгкий, затем всё сильнее, сильней... Задул осенний ветер листождёр... да и не ветер уже — настоящий предзимний шквал откликнулся на призыв Дубка. С престарелых дубов полетели на землю огромные обломанные сучья, золотые листья срывались, сыпались веером с веток и вместе с желудями толстым слоем укрывали землю вокруг. А молоденький гибкий Дубок лишь слегка грациозно покачивался, словно в танце, и ему очень даже нравилось всё это действо... эта лесная дискотека. Он в такт порывам то приседал, то размахивал веточками и ли-ко-вааал... Он бесновался от радости, увидев, как вершина прадуба под бешеным ураганным ветром обломилась и по всему чёрному дряхлому стволу — с самого верха до основания — прошла глубокая трещина.

— Ура!!! — ликовал молодой дубок. — Так вам и надо!.. Пусть шторм всех вас вырвет с корнем. Тогда не будете мне мешать!

И ураган услышал его... Он грозно загудел, зарычал и, обратившись лютым смерчем, стал по очереди воздушной воронкой зависать то над одним старым дубом, то над другим, выдёргивая их с корнями, с грохотом, с пластами земли. Вот уже нет останков прадеда дуба, вот повергнут наземь дед... И лишь отец прикрывал молодой Дубок от северного ветра собой. Природа вокруг преобразилась... Вот уж и леса не осталось. Когда буря вырвала с корнями старые деревья, самые древние, самые сильные, всю молодь унесло по ветру, словно тростинки. Дубок в страхе выглядывал из-за широченной спины отца: вокруг, сколько хватало взгляду, лежала безжизненная холодная скалистая пустыня.

Где жучки? где паучки? где птичьи гнёзда?

Всё разорено ураганом...

— Что я наделал?! — в ужасе стал причитать Дубок. — Если смерч вырвет с корнями и отца — я погиб...

Дубок едва пережил штормовую ночь. К утру северный ветер стих, но пришла другая беда... На небосводе безжалостным огнём запылало светило...

Все растения и насекомые, всё, в чём едва теплилась жизнь — сгорело под палящими лучами солнца. Не осталось ни одного деревца, ни одного кустарника, ни одной зелёной травинки, лишь пожухлая иссохшая стернь... А Дубок спокойно, в тени могучей кроны отца-исполина, постепенно приходил в себя, охорашивался, рос и мужал.

В порыве благодарности он протянул к отцу свои ветви, но тот не отвечал.

Шторм и солнце окончательно иссушили, обескровили его... Дуб стоял уже неживой...

Он так и умер, стоя, прикрывая своими огромными ветвями сына от палящего солнца, от студёного ветра...

И весной жизнь вернулась в дубраву. Из желудей народились, проклюнулись липкие зелёные росточки, они тянулись вверх и росли, хорошели, крепили под сенью возмужавшего Дубка. Теперь он — самый старший в роду — трепетно, ревностно защищал молодые побеги от северного ветра и палящего солнца.

А пичужка свила в его крепких ветвях гнездо и вывела птенцов...

Жизнь продолжалась.

*